

ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА

ХРЕСТОМАТИЯ ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ

РЕАЛИЗМ В МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЕ XIX ВЕКА: ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Курс зарубежной литературы XIX века охватывает период от последних десятилетий XVIII века до 1870-х годов. Культурологический XIX век принято отсчитывать не от календарной даты, а от главного события новой истории – Великой французской буржуазной революции (1789-1794). XIX век – «буржуазный век», эпоха классической философии и литературы. В искусстве и, прежде всего, в литературе в это время сложились два художественных метода – романтизм и реализм. Эти методы обозначают два важнейших типа художественного сознания нового времени.

Исторические предпосылки формирования реализма в литературе XIX века

Великая французская буржуазная революция коренным образом изменила ментальность в Европе и Америке, выдвинула новые исторические приоритеты и новый тип личности. Французские события стали главными для XIX века в целом, по Франции и французским обстоятельствам Европа «мерила» свою национальную историю. В итоге одно поколение стало свидетелем смены общественных формаций, перехода от феодальных к буржуазным социальным отношениям.

XIX века был буквально «насыщен» кардинальными изменениями, среди которых можем отметить: пять лет Французской революции, военные походы Наполеона, его поражение при Лейпциге перед союзными армиями,

«100 дней» (возвращение Наполеона в Париж), окончательное поражение при Ватерлоо, период Реставрации (1815-1830), Июльскую революцию 1830 года, экономический кризис 1842 года, забастовочное движение по всей Европе (особенно в 1840-е годы), революционные события общеевропейского масштаба в 1848 году, начало аболиционистского движения в США (с 1830-х годов.), бесконечные войны на Балканах, войны (1860-1870-е годы) и объединение Германии, формирование новых принципов избирательного права в Англии (законы 1868–1880-х годов). Эти и другие политические потрясения меняли Европу, отражали новые исторические противоречия. Если в XVII–XVIII веках буржуазность представлялась идеалом, реализацией возможностей нового социального слоя – буржуа, попыткой построить принципиально иные социальные отношения, то в XIX веке восприятие новой реальности меняется. Оказалось, что буржуазное общество далеко не всегда соответствует сформировавшемуся идеалу, поэтому его начинают критиковать и даже полностью отвергать ещё романтики, а затем подвергают глубокому критическому анализу писатели-реалисты.

Реализм (от лат. *realis* – вещественный, действительный) – один из главных художественно-творческих принципов литературы и искусства в целом, а также одно из ведущих литературных направлений XIX века, ориентированное на объективное воспроизведение окружающей действительности, общества и человеческой личности в ее различных проявлениях.

Эстетические предпосылки формирования реализма в литературе XIX века

Каждое литературное направление вызывается к жизни предпосылками не только социально-историческими (при всем их важном значении), но и эстетическими. Они складываются как в отдельных явлениях литературы

прошлого, так и в целых литературных направлениях. Искусство критического реализма XIX века было преемственно связано с лучшими, наиболее плодотворными традициями в развитии культуры предыдущих эпох. В сущности, во всем мировом литературном процессе достаточно четко и последовательно прослеживается процесс поступательного движения и становления реализма.

В традиционном литературоведении термин «реализм» используется в двух значениях:

- 1) реализм как творческий метод, «тип художественного мышления»;
- 2) реализм как литературное направление, объединяющее группу писателей, сходных по типу художественного мышления, но далеко не всегда совпадающих по своим эстетическим воззрениям.

Рассматривая реализм как художественный метод, нельзя не отметить, что он имеет длительную историю. Его зачатки могут быть обнаружены еще в первобытном искусстве, поражающем стремлением к правдивости изображения отдельных явлений жизни (как, например, наскальные рисунки). Верно оказываются схвачены отдельные явления жизни и в некоторых литературных памятниках средневековья, хотя реализм литературы этого периода воспринимается как ограниченный.

В процессе становления реализма XIX века особое место принадлежит реализму эпохи Возрождения, творчеству таких писателей как Ф. Рабле, М. Сервантес, У. Шекспир и другие. Их опыт несомненно сказывался в творчестве каждого сколько-нибудь значительного писателя-реалиста независимо от того, обращался он сознательно к этому опыту или нет. К представителям европейского реализма опыт художников Возрождения пришел отчасти и через трактовку его романтиками, среди которых многие выступали за необходимость изображать жизнь во всей ее полноте.

Не менее существенным компонентом эстетических истоков критического реализма была реалистическая литература эпохи Просвещения. В частности здесь следует особо подчеркнуть значение английского романа

XVIII века. Он был важен и своими резкими критическими тенденциями (проявившимися, например, в произведениях Дж. Свифта и Г. Филдинга), и тонким психологическим мастерством (романы Л. Стерна). Наряду с этим, реалисты, несомненно, учитывали опыт и французских просветителей: писатели XIX века восприняли и углубили антифеодальную, социально-критическую направленность, характерную для произведений Вольтера и Дидро, опирались на опыт Ж.-Ж. Руссо, являвшегося признанным мастером в изображении многогранных человеческих чувств. От просветителей реалисты также переняли веру в силу человеческого разума. С Просвещением реалистов сближает и утверждение воспитательной, гражданской миссии искусства.

Особенно тесными, сложными и многогранными являются связи реалистов с романтиками (не только хронологически, но и с точки зрения сущности творческого метода), подготовившими появление реализма. Эти органические контакты характерны как для творческой эволюции отдельных писателей (О. Бальзак, П. Мериме, Г. Флобер, Ч. Диккенс и другие), так и в общем типологическом плане. Очевидно, можно говорить о том, что бурное развитие романтизма во многом подготовило появление критического реализма. Такие завоевания романтизма, как исторические романы В. Скотта, лирика Дж. Байрона и П.-Б. Шелли, романтические драмы В. Гюго и романы Дж. Купера оказали несомненное влияние на творчество писателей-реалистов. Правда, нередко они, отталкиваясь от романтической эстетики, отзывались о ней скептически, но в то же время не отказываются от многих достижений романтизма. Например, продолжая традиции предшественников, реалисты XIX века критиковали противоречащие интересам человеческой личности и унижающие ее достоинство буржуазные отношения. Наряду с этим их привлекало героическое начало романтизма, представители которого нередко ставили в центр своих произведения человека-борца, активно протестующего против несовершенства окружающего мира и стремящегося преобразовать его. Опираясь на плодотворный опыт романтиков в раскрытии

внутреннего мира персонажей, психологии действующих лиц, писатели-реалисты углубили возможности типизации характеров. Они последовательно реализовывали один из важнейших тезисов романтической эстетики – требование отражения местного и исторического колорита, то есть тщательного описания обстановки той эпохи, в которой происходит действие художественного произведения. Романтическая теория контрастов, провозглашенная и последовательно воплощенная В. Гюго, также в значительной степени предварила отражение социальных противоречий действительности в творчестве писателей-реалистов.

Таким образом, следует признать, что вызревание реалистических тенденций происходило в недрах романтизма. Подтверждением этой мысли может служить тот факт, что существенное и плодотворное воздействие романтизма испытывали на себе многие значительные представители реализма. Литературоведами давно отмечено проявление определенных черт романтической эстетики и в произведениях такого писателя, как Ч. Диккенс, все творчество которого было окрашено романтически-утопической мечтой о непременном торжестве добра, о всеобщей любви и братстве. Ф. Стендаль, также усвоивший уроки романтиков, в своей творческой манере был особенно близок им: это сказалось не только в его глубоком и мастерском психологизме, но и в самой идейно-эстетической структуре романов, в центре которых всегда стоит главный герой, противопоставленный действительности и возвышающийся над ней. Особый характер восприятия романтической традиции свойственен и П. Мериме, в новеллах которого нередко на первый план выступает свойственная романтизму «экзотика», изображаются неординарные личности.

В целом связи между критическим реализмом XIX века и предшествующими ему литературными направлениями оказываются достаточно глубокими и многогранными. Обогащая художественный опыт человечества, реалисты вбирали в себя все лучшее, что было сделано представителями просветительского реализма и романтиками, создавали

свои произведения, опираясь на прочный фундамент предшествующей литературной традиции. Но в то же время они выработали свой собственный стиль, представили свое оригинальное видение задач литературы, в художественной форме отражающей действительность.

Основные черты реализма как литературного направления

1. Реализм XIX века, также как и романтизм, предполагает в своей основе целостное мировоззрение, определенное отношение писателей к действительности. Он примечателен прежде всего правдивым изображением существующего строя. Его представители, акцентируя это правдивое изображение, неизбежно превращали его в критику буржуазной действительности. Говорить о буржуазном обществе правду значило разоблачать это общество. Если художник слова отказывался от критики существующего строя, он переставал быть реалистом.

2. В сравнении с романтизмом, реализм значительно расширил сферу искусства. Если романтики концентрировали внимание на духовных устремлениях человека, то реалисты избрали объектом изображения человеческую жизнь во всех ее проявлениях. В их творчестве находит отражение не только идеальная, духовная, но и вся конкретная деятельность людей (их служебные, семейные, общественные дела и т.п.). В связи с этим границы литературы широко раздвинулись. В нее мощным потоком хлынула проза жизни. Житейские бытовые мотивы стали обязательным спутником реалистических произведений. В повествовательных и даже лирических жанрах главное место заняли обыкновенные заурядные личности, которые пришли на смену необыкновенным романтическим героям, жившим в мире высоких духовных и моральных интересов. Романтических мечтателей и бунтарей вытеснил реальный исторический человек. Через переплетение конкретных человеческих судеб писатель-реалист раскрывал конкретные закономерности жизни общества.

3. Формирование реализма сопровождалось пересмотром многих эстетических понятий. В частности, возникла необходимость реабилитировать с эстетической точки зрения весь тот жизненный материал, который теоретиками романтизма считался непригодным для поэтического воплощения. Современность вошла в творчество реалистов во всей своей неприглядной сущности – с городскими трущобами, нищими деревнями, с беспорядком «маленького человека» и беззаконием власть имущих. Писатели-реалисты стремились дойти до истоков возникновения социального зла. В своей аналитической работе они, опираясь на конкретные жизненные наблюдения и данные науки, создавали картины, являющиеся обвинительным приговором существующему строю.

4. Характерной особенностью реалистов XIX века является также историзм их мышления, то есть стремление понять объективное движение истории. Например, о причастности Ф. Стендаля или О. Бальзака к реалистическому искусству свидетельствует не только то, что они правдиво запечатлели будни дворянства или буржуазии, но главным образом то, что они отразили весь процесс вытеснения с исторической арены дворянской знати «денежными выскочками» (Гобсек и Нусинген из произведений Бальзака, Вально из «Красного и черного» Стендаля и др.).

5. Примечательной чертой классического реализма является стремление писателей к объективности. Для представителей этого литературного направления характерны признание ценности объективной действительности и огромный интерес к ней, сознательное стремление к глубокому исследованию окружающего мира. Реалисты глубоко изучали жизнь, прежде чем приступать к созданию книг, в которых окружающие их явления выступали в обобщенном виде. Стремление быть верными действительности, глубокий аналитический подход к ней сближает этих писателей с передовыми учеными своего времени, прежде всего с историками, и придает высокую художественную правдивость их произведениям.

6. Помимо правдивости деталей, реализм предполагает правдивость в воспроизведении типичных характеров в типичных обстоятельствах. Под типизацией в данном случае понимается умение дать в образе то, что с наибольшей силой и полнотой выражает сущность данного явления или характера. Типизация предполагает изображение не только определенных характеров, но и тех условий, которые их порождают, требует, чтобы обстоятельства не были случайными, чтобы они содержали существенные социально-исторические черты и духовные качества людей, которых изображает художник слова, вытекали из этих условий и были мотивированы ими.

Ученые с полным основанием подчеркивают проблему типизации в произведениях писателей-реалистов как одну из наиболее характерных особенностей их творчества. Об этом свидетельствуют и произведения писателей, и их высказывания о литературе. Так, например, учение о создании художественного типа разрабатывал О. Бальзак. Он различал в этом процессе несколько стадий: наблюдение и изучение определенной социальной группы, отбор самых специфических для нее черт, художественное обобщение собранного материала. Только в результате такого длительного творческого труда возникает художественный тип. Он является одновременно обобщенным образом, то есть обладает чертами, присущим многим людям, и неповторимым индивидуумом – личностью, для которой художник слова придумал биографию, внешность, сложнейший внутренний мир. Человеческий характер, одновременно и типичный и индивидуализированный, раскрывается в произведениях критического реализма в развитии, которое мотивируется сложным взаимодействием личности и общества.

7. Представители реализма 19 века создавали характеры не только типичные, но и индивидуализированные. В богатейшем арсенале средств реалистической типизации отнюдь не последнее место занимает психологизм, то есть раскрытие внутреннего состояния человека. Реалистами

изображается сложный мир эмоций, присущих «типичному характеру», выражающих его индивидуальность. Романтики за редким исключением изображали статичные характеры, становление которых происходило «за пределами текста». Завоеванием реалистов является показ характеров персонажей в процессе их становления и развития, стремление изобразить их историю, проследить «величие и падение». При этом, как уже отмечалось, характерные типические и индивидуальные особенности людей оказываются мотивированы историческими условиями, в которых сложились эти характеры.

8. Отмечая характерные особенности героев реалистических произведений, нельзя не указать на еще одну важную черту. Романтизм отличало стремление писателей «войти» в своих героев, в определенной степени перевоплотиться в них. Автор и герой нередко сливались, персонажи наделялись писателями собственными мыслями и переживаниями. В реалистических произведениях между писателем и созданными им образами людей обычно существует резкая грань. Персонажи подчиняются собственной логике поведения, поступки и мысли героев мотивируются их характерами и теми обстоятельствами, в которых они оказываются.

9. С новыми принципами изображения персонажей были связаны характерные особенности в построении сюжета реалистических произведений. Реалистам чужды условно-романтические ситуации и нарочитое нагромождение роковых случайностей. Развитие действия в их романах поражает беспощадно трезвой логичностью и глубоким историзмом в изображении объективных условий, связанных с судьбами тех или иных героев.

10. Вместе с разработкой ряда проблем, которые возникают при решении стоящих перед реалистами задач, особое значение приобретает язык художественного произведения. В литературе классического реализма он – не только средство повествования. Для реалиста язык – это средство раскрытия характера его героев. И так как для произведений критического

реализма нередко характерен очень широкий социальный охват, их язык оказывается необычайно богатым и разнообразным. Нередко он включает в себя почти все имеющиеся стилевые слои языка, объединяя их в единую систему. Так, например, Бальзак в своем романе «Блеск и нищета куртизанок» использует язык французского общества в годы Реставрации – от выражений, модных в дворянских и буржуазных салонах, до жаргона каторжников. Обогащаясь за счет широкого привлечения самых различных стиливых элементов языка, произведения критического реализма вводили в обиход своей эпохи огромное количество нового лексического материала, способствовали широчайшему обогащению литературного языка в целом.

Жанровое своеобразие реалистической литературы XIX века

Критический реализм проявил себя в различных литературных жанрах, но более всего способствовал распространению повествовательной литературы. Если в романтическую эпоху ведущую роль играла лирика, то в годы формирования реалистической литературы стихи стали постепенно вытесняться прозой. Характерно, что почти во всех литературах в 1830-40-е годы утверждается жанр короткого очерка, посвященного тому или иному бытовому или социальному явлению современности. Эти очерки нередко составляли целые серии зарисовок современной жизни – чаще всего жизни городов, где особенно остро сказывалось возникновение новых бытовых и социальных явлений. Нередко в очерках намечались темы, которые позже становились основой романов и повестей. Например, О. Бальзак был замечательным очеркистом, прежде чем стал великим романистом. С «Очерков Боза» начал свою литературную деятельность Ч. Диккенс.

В то же время основным жанром в творчестве писателей-реалистов становится роман, который позволяет дать широкий охват действительности. Этот жанр стал эпосом полного противоречий европейского общества XIX века, своеобразной художественной энциклопедией своего времени. Роман

позволил писателям изобразить жизнь с самых различных сторон, запечатлеть множество социальных типов и одновременно сделать важные исторические и философские обобщения. Реалистический роман в его различных разновидностях – семейный, бытовой, социальный, психологический, исторический и др. – тяготел к синтезу жанров. Он вместил в себя и новую эпическую традицию, созданную писателями критического реализма, и драматизм (как внешний, сказывающийся в развитии действия, так и внутренний, психологический), и лирическое начало, отчетливо проявляющееся в изображении переживаний и чувств действующих лиц. Универсальность романа становится одной из характерных особенностей критического реализма.

Этапы развития реализма в литературе XIX века

Формирование критического реализма происходит в европейских странах и в России практически в одно и то же время – в 20-40-е годы XIX века. Правда, это не означает, что литературный процесс этого периода сводится только в реалистической системе. И в европейских литературах, и – в особенности – в литературе США в полной мере продолжается деятельность писателей-романтиков. Развитие литературного процесса идет во многом через взаимодействие сосуществующих эстетических систем, а значит характеристика как национальных литератур, так и творчества отдельных писателей предполагает обязательный учет этого обстоятельства.

I этап. Говоря о том, что с 1820-1840-х годов ведущее место в литературе занимают писатели-реалисты, невозможно не отметить, что сам реализм оказывается не застывшей системой, а явлением, находящимся в постоянном развитии. Уже в пределах XIX века возникает необходимость говорить о «разных реализмах», о том, что П. Мериме, О. Бальзак и Г. Флобер в равной мере отвечали на основные исторические вопросы, которые им подсказывала

эпоха, и в то же время их произведения отличаются и различным содержанием, и своеобразием формы.

В 1820-1840-х годах в творчестве европейских писателей (прежде всего Бальзака) проявляются наиболее примечательные черты реализма как литературного направления, дающего многогранную картину действительности, стремящегося к аналитическому исследованию действительности. Но вместе с тем это был период генетической связи реалистической и романтической эстетики. Многие писатели 20-40-х годов питались любовью к XIX веку. Ее разделяли, например, Ф. Стендаль и О. Бальзак, не перестававшие удивляться динамизму своего времени, его многообразию и неисчерпаемой энергии. Отсюда и герои первого этапа реализма – деятельные, с изобретательным умом, не боящиеся столкновений с неблагоприятными обстоятельствами. Эти персонажи во многом были связаны с героической эпохой Наполеона, хотя они уже осознавали его двуликость.

Реалисты второй половины XIX века будут часто упрекать своих предшественников в «остаточном романтизме». С подобным упреком трудно не согласиться. Действительно, романтическая традиция весьма ощутимо представлена в творческих системах О. Бальзака, Ф. Стендаля, П. Мериме, Ч. Диккенса. В частности, черты романтизма обнаруживаются:

- в культе экзотики (новеллы Мериме «Маттео Фальконе», «Кармен», «Таманго» и др.);
- в пристрастии писателей к изображению ярких индивидуальностей и исключительных по своей силе страстей (роман Стендаля «Красное и черное» или новелла «Ванина Ванини»);
- в пристрастии к авантурным сюжетам и использованию элементов фантастики (роман Бальзака «Шагреньевая кожа» или новелла Мериме «Венера Ильская»);
- стремлении четко разделить героев на отрицательных и положительных – носителей авторских идеалов (романы Диккенса);

- в наследовании характерных для романтического искусства приемов и даже отдельных тем и мотивов (тема утраченных иллюзий, мотив разочарования и т.п.).

II этап. Вторая половина XIX века традиционно считается «триумфом реализма». К этому времени новое литературное направление в полный голос заявляет о себе не только во Франции и Англии, но и в ряде других стран – Германии, России, США и т.п.

В то же время с 50-х годов XIX начинается новый этап в развитии реализма, который предполагает новый подход к изображению и героя, и окружающего его общества. Социальная, политическая и нравственная атмосфера второй половины XIX века «повернула» писателей в сторону анализа человека, которого трудно назвать героем, но в судьбе и характере которого преломляются основные приметы эпохи, выраженные не в крупном деянии, значительном поступке или страсти, не в масштабном противостоянии или конфликте, не в доведенной до предела типичности, часто граничащей с исключительностью, а в будничной, обыденной каждодневной жизни.

При этом писатели указанного периода не забывали об одной из главных особенностей критического реализма – объективности воспроизводимого. Как известно, О. Бальзак был настолько озабочен этой объективностью, что искал способы сближения литературного знания (понимания) и научного. Эта идея пришлась по душе многим реалистам второй половины XIX века. К примеру, Элиот и Флобер много размышляли об использовании литературой научных, а значит, как им казалось, объективных приемов анализа. Особенно много об этом думал Флобер, который понимал объективность как синоним беспристрастности.

Объяснить подобный подход к литературе можем тем, что творчество реалистов второй половины XIX века пришлось на период взлета в развитии естественных наук и расцвета экспериментаторства. В частности, бурно развивалась биология (в 1859 году была опубликована книга Ч. Дарвина

«Происхождение видов»), физиология, происходило становление психологии как науки. Широкое распространение получила философия позитивизма О. Конта, сыгравшая позднее важную роль в развитии натуралистической эстетики и художественной практики. В итоге под влиянием научных открытий писатели-реалисты изменили направление своего творчества и повели литературу в сторону углубленного психологизма: они начали не просто рисовать сложный внутренний мир литературного героя, а воспроизводить хорошо отлаженную, продуманную психологическую «модель характера», в ней и в ее функционировании художественно соединяя психолого-аналитическое и социально-аналитическое.

ФРАНЦУЗСКАЯ ЛИТЕРАТУРА XIX ВЕКА

ФРЕДЕРИК СТЕНДАЛЬ

(1783-1842)

Творческое наследие Стендаля не слишком велико, но очень значимо для формирования французской литературы XIX века. Его перу принадлежат:

- книги «История живописи в Италии» (1817), «Жизнь Гайдна, Моцарта и Метастазии» (1817);
- книга «Расин и Шекспир» (1823-1825) – первый манифест реалистической школы;
- романы: «Красное и черное» (1831), «Пармская обитель» (1839), «Люсьен Левен» (опубликован в 1855-м, полностью – в 1929-м году);
- психологический трактат «О любви» (1822);
- новеллы «Ванина Ванини» (1829), «Итальянские хроники» (издан в 1855-м году).

Однако Стендаль не сразу пришел к мысли о писательстве. В юности он изучал математику, увлекался искусством, затем вступил в армию Наполеона

Бонапарта и проделал в ее составе несколько военных кампаний (в том числе русскую 1812 года). В ходе наполеоновских походов он открыл для себя Италию, которая на всю жизнь осталась для него предметом любви, а ее жители – образцом человеческого типа. После падения наполеоновской империи он подолгу жил в Италии: при Реставрации как частное лицо, а при Июльской монархии, начиная с 1830-го года, в качестве французского консула в Триесте и Чивитавеккьи.

У себя на родине Стендаль был известен как блестящий салонный собеседник, но при этом его литературное творчество успеха не имело и писательская слава пришла к нему лишь посмертно, во второй половине XIX века.

Эстетические принципы Стендаля

К литературному творчеству Стендаль пришел через стремление познать самого себя: в молодости он увлекся работами французских философов, стремившихся выяснить понятия и законы человеческого мышления. Цели самопознания служил его изданный посмертно дневник, а также ряд эссе и автобиографических книг, посвященных психологическому самоанализу («Жизнь Анри Брюлара», «Записки эготиста»), опубликованные посмертно).

Самопознание в творчестве писателя мастерски сочетается со стремлением скрыть собственную личность. Отсюда переплетение в его книгах своего и чужого опыта, оригинального и заимствованного текста, сложная игра масками и псевдонимами, главный из которых – «Стендаль» (по названию городка в Германии) впервые появился в 1817 году в заголовке книги «Рим, Неаполь и Флоренция». Кроме того, в основе образной системы большинства произведений писателя лежит противопоставление двух человеческих типов – «французского» и «итальянского». Французский тип, отягощенный пороками буржуазной цивилизации, отличается неискренностью, лицемерием (часто вынужденным); итальянский привлекает своей импульсивностью, откровенностью желаний, романтической беззаконностью. Основные художественные произведения

Стендаля изображают конфликт главного героя «итальянского» типа (необязательно итальянца по происхождению) со сковывающим его «французским» укладом общества. Критикуя это общество, писатель одновременно проницательно показывает душевные противоречия своих персонажей, их компромиссы с внешней средой. Впоследствии именно эта черта творчества Стендаля способствовала признанию его классиком реализма XIX века.

Ф. Стендаль

**ВАНИНА ВАНИНИ,
или Подробности о последней венте карбонариев,
раскрытой в Папской области**

Это случилось весенним вечером 182... года. Весь Рим был охвачен волнением: пресловутый банкир герцог де Б. давал бал в новом своем дворце на Венецианской площади. В убранстве этого дворца сочеталось все великолепие искусства Италии и все ухищрения лондонской и парижской роскоши. Съехалось множество гостей. Английские аристократки - чопорные белокурые красавицы - сочли за честь появиться на балу у банкира. Они слетелись целым роем. Красивейшие женщины Рима соперничали с ними прелестью.

В залу вошла под руку с отцом молодая девушка: сверкающие глаза и волосы, черные, как вороново крыло, изобличали в ней римлянку; все взгляды устремились на нее. В каждом ее движении сквозила необычайная гордость.

Гостей-иностранцев поражала пышность этого бала. "Никакие празднества монархов Европы не могут с ним сравниться", - говорили они. У монархов Европы нет дворцов, созданных итальянским зодчеством; они

вынуждены приглашать своих придворных дам, между тем как герцог де Б. приглашал только красивых женщин. В этот вечер его выбор оказался особенно удачен: мужчины были ослеплены. Собралось столько пленительных женщин, что трудно было решить, кому отдать пальму первенства. Но после недолгих колебаний царицей бала единодушно провозгласили княжну Ванину Ванини, черноволосую девушку с огненным взором. Тотчас же иностранцы и молодые римляне, покинув гостиные, столпились в бальной зале.

Отец девушки, князь Аздрубале Ванини, пожелал, чтобы она прежде всего протанцевала с двумя-тремя немецкими владетельными принцами. Затем она приняла приглашение нескольких англичан, весьма красивых и весьма знатных, но их накрахмаленный вид наскучил ей. Больше удовольствия ей, казалось, доставляло мучить молодого Ливио Савелли, по-видимому, страстно в нее влюбленного. Ливио был одним из самых блестящих молодых людей в римском обществе и тоже носил княжеский титул; но, если б ему дали почитать какой-нибудь роман, он на двадцатой странице отбросил бы книгу, заявив, что у него разболелась голова; в глазах Ванины это было большим недостатком.

Около полуночи на балу распространилась новость, которая вызвала много разговоров. В этот самый вечер из крепости Святого Ангела (*крепость Святого Ангела - старинная тюрьма в Риме*) бежал, перерядившись, содержащийся в заключении молодой карбонарий; уже достигнув последних ворот тюрьмы, он в пылу романической отваги напал с кинжалом на солдат охраны, но его самого тоже ранили. Сбирь (*сбирь - полицейские стражники*) гонятся за ним по кровавым следам и надеются поймать его.

Пока все толковали об этом побеге, дон Ливио Савелли, восхищенный прелестью и успехом Ванины, почти обезумев от любви, воскликнул, провожая ее к креслу после танцев:

- Но скажите, бога ради, кто мог бы понравиться вам?

- Молодой карбонарий, бежавший сегодня из крепости. По крайней мере он что-то совершил, а не только дал себе труд родиться.

Князь Аздрубале подошел к дочери. Этот богач уже двадцать лет не требовал отчета от своего управителя, а тот давал ему в долг под весьма высокие проценты его же собственные деньги. Встретив князя на улице, вы приняли бы его за старого актера; вы даже не заметили бы, что пальцы у него унизаны массивными перстнями с очень крупными бриллиантами. Оба его сына вступили в орден иезуитов (*иезуиты - могущественный католический монашеский орден, основанный в XIII веке*), затем сошли с ума и умерли. Он забыл их, а на свою единственную дочь Ванину гневался за то, что она не выходит замуж. Девушке уже девятнадцать лет, а она отвергает самые блестящие партии. В чем тут причина? Причина была та же самая, которая побудила Суллу (*Сулла (138-178 гг. до нашей эры) - римский военачальник*) отречься от власти: презрение к римлянам.

Наутро после бала Ванина заметила, что ее отец, человек на редкость беззаботный, никогда в жизни не бравший в руки ключа, чрезвычайно старательно запер дверь на узкую лесенку, которая вела в комнаты, расположенные на четвертом этаже дворца. Окна этих комнат выходили на террасу, заставленную апельсиновыми деревцами в кадках.

Ванина отправилась в город с визитами; когда она возвращалась, парадный подъезд был загроможден сооружениями для иллюминации, и карета въехала через задний двор. Ванина подняла глаза и, к удивлению своему, увидела, что в одной из комнат, которые так тщательно запер ее отец, отворено окно. Отделавшись от своей компаньонки, она поднялась на чердак и, поискав, нашла там забранное решеткой окошечко напротив террасы с апельсиновыми деревьями. Раскрытое окно, заинтриговавшее ее, было в двух шагах. В комнате, очевидно, кто-то поселился. Но кто?

На следующий день Ванине удалось достать ключ от дверцы, которая вела на террасу с апельсиновыми деревьями. Крадучись, она подошла к окну - оно все еще было открыто. Ванина спряталась за решетчатым

ставнем. У задней стены комнаты она увидела кровать. Кто-то лежал на ней. Ванина смутилась, хотела убежать, но вдруг заметила женское платье, брошенное на стул. Присмотревшись, она различила на подушке белокурую голову; лицо показалось ей совсем юным. Теперь она уже не сомневалась, что это женщина. Платье, брошенное на стул, было все в крови; кровь запеклась и на женских туфлях, стоявших на столе. Незнакомка пошевелилась, и тогда Ванина заметила, что она ранена: грудь ей стягивала полотняная повязка, на которой расплылось кровавое пятно; повязку придерживали какие-то тесемки - видно было, что она сделана отнюдь не руками хирурга.

Ванина стала замечать, что теперь ее отец ежедневно около четырех часов дня запирается в своих комнатах, а затем идет навещать знакомку; он оставался у нее очень недолго, а возвратившись, тотчас же садился в карету и отправлялся к графине Вителлески. Как только он уезжал, Ванина поднималась на маленькую террасу и наблюдала за знакомкой. Она чувствовала глубокую жалость и симпатию к столь юной, столь несчастной женщине и пыталась разгадать ее историю. Окровавленное платье, брошенное на стул, казалось, было изодрано ударами кинжала. Ванина могла сосчитать на нем дыры.

Однажды она более отчетливо разглядела знакомку: та лежала неподвижно, устремив в небо голубые глаза, словно молилась, и вдруг ее прекрасные глаза наполнились слезами. В эту минуту княжна едва удержалась, чтобы не заговорить с нею.

На следующий день Ванина решила спрятаться на террасе перед появлением отца. Она видела, как дон Аздрубале вошел к знакомке; он нес в руке корзиночку с провизией. Князь явно был встревожен, говорил мало и так тихо, что Ванина ничего не расслышала, хотя он не притворил застекленную дверь. Он вскоре ушел. "Должно быть, у этой бедняжки очень опасные враги, - подумала Ванина, - раз мой отец, человек такой

беспечный, не смеет никому довериться и ежедневно сам поднимается сюда по крутой лестнице в сто двадцать ступеней".

Однажды вечером, когда Ванина, осторожно приблизившись, заглянула в окно, взгляд ее встретился со взглядом незнакомки, и все открылось.

Ванина бросилась на колени и воскликнула:

- Я люблю вас, я ваш друг!

Незнакомка жестом попросила ее войти.

- Простите меня, простите, пожалуйста, - твердила Ванина. - Наверно, мое глупое любопытство кажется вам оскорбительным. Клянусь, я все сохраню втайне, а если вы пожелаете, я больше никогда не приду.

- Для кого не было бы счастьем видеть вас! - сказала незнакомка. - Вы живете здесь, в этом дворце?

- Конечно, - ответила Ванина. - Но вы, по-видимому, не знаете меня: я Ванина, дочь князя Аздрубале.

Незнакомка удивленно взглянула на нее, и, густо покраснев, добавила:

- Позвольте мне надеяться, что вы будете приходить каждый день, но я не хотела бы, чтобы князь знал об этом.

Сердце у Ванины сильно билось. Все манеры незнакомки казались ей исполненными достоинства. Эта несчастная молодая женщина, вероятно, оскорбила какое-то могущественное лицо, а может быть, в порыве ревности убила своего возлюбленного. Ванина и мысли не допускала, чтобы причина ее несчастий могла быть заурядной. Незнакомка сказала, что она ранена в плечо и в грудь и ей очень больно. Часто у нее идет горлом кровь.

- И к вам не пригласили хирурга? - воскликнула Ванина.

- Вы же знаете, что в Риме, - сказала незнакомка, - хирурги обязаны немедленно сообщать в полицию о всех раненых, которых они лечат. Князь так милостив, что сам перевязывает мне раны вот этим полотном.

Незнакомка с благородной сдержанностью избегала сетовать на свои несчастья. Ванина была без ума от нее. Только одно очень удивляло княжну:

она не раз замечала, что во время серьезного разговора незнакомка сдерживала внезапное желание засмеяться.

- Мне хотелось бы знать ваше имя, - сказала княжна.

- Меня зовут Клементина.

- Так вот, дорогая Клементина, завтра в пять часов я приду навестить вас.

На следующий день Ванина увидела, что ее новой подруге стало хуже.

- Я позову к вам хирурга, - сказала Ванина, целуя ее.

- Нет, лучше умереть! - возразила незнакомка. - Я ни за что не соглашусь повредить своим благодетелям.

- Подождите! Хирург монсиньора Савелли-Катанцара, губернатора Рима, - сын одного из наших слуг, - торопливо заговорила Ванина. - Он привязан к нам, а благодаря своему положению может никого не бояться. Напрасно мой отец не доверяет его преданности. Я сейчас пошлю за ним.

- Не надо, не надо! - воскликнула незнакомка с волнением, удивившим Ванину. - Приходите навещать меня, а если бог призовет меня к себе, я буду счастлива умереть на ваших руках.

На другой день незнакомке стало совсем плохо.

- Если вы любите меня, - сказала ей Ванина на прощание, - согласитесь принять хирурга.

- Если он придет, счастье мое рухнет.

- Я пошлю за хирургом, - настаивала Ванина.

Незнакомка, не отвечая, удержала ее и приникла губами к ее руке. Наступило долгое молчание; у незнакомки слезы навернулись на глаза. Наконец она выпустила руку Ванины и с таким видом, будто шла на смерть, сказала:

- Я должна вам признаться: позавчера я солгала, назвав себя Клементиной. Я - несчастный карбонарий...

Ванина удивленно взглянула на нее, отодвинулась и встала со стула.

- Чувствую, - продолжал карбонарий, - что этим признанием я лишил себя

единственной отрады, которая еще привязывает меня к жизни. Но я не хочу обманывать вас, это недостойно меня. Мое имя - Пьетро Миссирилли, мне девятнадцать лет; мой отец - бедный хирург в Сант-Анджело-ин-Вадо; я карбонарий. Нашу венту раскрыли. Меня в оковах привезли из Романьи в Рим, бросили в темный каземат, днем и ночью освещенный лишь маленькой лампочкой; там я провел тринадцать месяцев. Одной сострадательной душе явилась мысль спасти меня. Меня переодели в женское платье. Когда я вышел из тюрьмы и уже достиг последних ворот, один из караульных гнусно поносил карбонариев; я дал ему пощечину. Уверяю вас, я это сделал не из бесцельной удали - я просто забылся. Из-за этой моей опрометчивости за мной погнались по улицам Рима, и вот, в ночной темноте, раненный штыками, теряя силы от потери крови, я бросился в открытую дверь чьего-то дома. Слышу, солдаты бегут по лестнице за мной. Я прыгнул из окна в сад и упал в нескольких шагах от какой-то женщины, которая прогуливалась по аллее.

- Графиня Вителлески? Приятельница моего отца? - сказала Ванина.

- Как! Разве она вам говорила? - воскликнул Миссирилли. - Кто бы ни была эта дама, она спасла мне жизнь; имени ее никогда не надо произносить. Когда солдаты ворвались к ней, чтобы схватить меня, ваш отец уже увозил меня в своей карете... Мне плохо, очень плохо: вот уже несколько дней штыковая рана в плече не дает мне дышать. Я скоро умру и умру в отчаянии, оттого что больше не увижу вас...

Ванина слушала его нетерпеливо и поспешила уйти; Миссирилли не увидел в ее прекрасных глазах ни тени сострадания, а только оскорбленную гордость.

Ночью к нему явился хирург; он пришел один. Миссирилли был в отчаянии: он боялся, что больше никогда не увидит Ванину. Он стал расспрашивать хирурга; тот пустил ему кровь, но на вопросы ничего не отвечал. То же молчание и в следующие дни. Пьетро не сводил глаз с застекленной двери, в которую обычно входила с террасы Ванина. Он

чувствовал себя глубоко несчастным. Однажды, около полуночи, ему показалось, что кто-то стоит в темноте на террасе. Неужели Ванина?

Ванина приходила каждую ночь и, прикинув к застекленной двери, смотрела на него. "Если я заговорю с ним, - думала она, - я погибла! Нет, я больше никогда не должна его видеть".

Но, вопреки своему решению, Ванина невольно вспоминала, какую дружбу она чувствовала к этому юноше, когда так простодушно считала его женщиной. И после столь душевной близости позабыть его? В минуты благоразумия Ванину пугало, что все для нее как-то странно изменилось с тех пор, как Миссирилли открыл свое имя, - все, о чем она прежде думала, все, что постоянно видела вокруг, отошло куда-то, заволокло туманом.

Не прошло и недели, как Ванина, бледная, дрожащая, вошла вместе с хирургом в комнату карбонария. Она явилась сказать, что надо уговорить князя, чтобы он передал уход за больным кому-нибудь из слуг. Она пробыла только минуту, но несколько дней спустя опять пришла вместе с хирургом – из чувства человеколюбия. Однажды вечером, хотя Миссирилли стало уже гораздо лучше и у Ванины больше не было оснований бояться за его жизнь, она дерзнула прийти одна. Увидев ее, Миссирилли почувствовал себя на вершине блаженства, но постарался скрыть свою любовь: прежде всего он не желал уронить свое достоинство, как и подобает мужчине. Ванина вошла к нему в комнату, стора от стыда, боясь услышать любовные речи, и, была очень опечалена, что он встретил ее словами дружбы, благородной, преданной дружбы, но без единой искры нежности.

Когда она собралась уходить, Пьетро даже не пытался удержать ее. Через несколько дней она пришла опять. Встреча была точно такая же: те же почтительные уверения в преданности и вечной признательности. Ванина теперь совсем не стремилась охладить восторги юного карбонария: напротив, она боялась, что он не разделяет ее любви. Девушка, прежде столь гордая, с горечью почувствовала, как велико ее безумство. Она старалась

казаться веселой, даже равнодушной, стала бывать реже, но никак не могла решиться совсем отказаться от посещений больного.

Миссирилли горел любовью, но, помня о своем низком происхождении и оберегая свое достоинство, решил, что позволит себе заговорить о любви лишь в том случае, если целую неделю не увидит Ванины. Гордая княжна оборонялась стойко. "Ну что ж! - сказала она себе. - Я навещаю его, мне это приятно, но я никогда не признаюсь ему в своих чувствах".

Она подолгу засиживалась у больного, а он разговаривал с нею так, словно их слушали двадцать человек. Однажды вечером, после того как Ванина весь день ненавидела его и давала себе обещание держаться с ним еще холоднее, еще суровее, чем обычно, она вдруг сказала ему, что любит его. Вскоре они всецело отдались своему чувству.

Итак, безумство Ванины оказалось безмерным, но, надо признаться, она была совершенно счастлива. Миссирилли уже не старался оберегать свое мужское достоинство: он любил, как любят первой любовью в девятнадцать лет, как любят в Италии. С чистосердечием беззаветной страсти он даже признался гордой княжне, какую тактику применил, чтобы добиться ее взаимности. Он был счастлив и сам дивился, что можно быть таким счастливым.

Четыре месяца пролетели незаметно. И вот настал день, когда хирург возвратил больному свободу. "Что мне теперь делать? - думал Миссирилли. - По-прежнему скрываться у одной из красивейших в Риме женщин? А подлые тираны, державшие меня тринадцать месяцев в темнице, где я не видел солнечного света, подумают, что они сломили меня. Италия, ты поистине несчастна, если твои сыны способны так легко покинуть тебя!"

Ванина не сомневалась, что для Пьетро будет величайшим счастьем навсегда остаться с нею: он и в самом деле казался вполне счастливым. Но злая шутка генерала Бонапарта горьким упреком звучала в душе этого юноши и влияла на его отношение к женщинам. В 1796 году, когда генерал Бонапарт покидал Брешию (*Брешия - город в Ломбардии (Сев.*

Италия)), городские власти, провожавшие его до заставы, сказали ему, что жители Бреши чтят свободу больше, чем все остальные итальянцы. "Да, - ответил он, - они любят разглагольствовать о ней со своими возлюбленными".

Пьетро несколько смущенно сказал Ванине:

- Сегодня, как только стемнеет, мне надо выбраться отсюда.

- Постарайся, пожалуйста, вернуться до рассвета. Я буду ждать тебя.

- На рассвете я уже буду в нескольких милях от Рима.

- Вот как! - холодно сказала Ванина. - А куда же вы пойдете?

- В Романью, отомстить за себя.

- Я богата, - продолжала Ванина самым спокойным тоном. - Надеюсь, вы примете от меня оружие и деньги.

Миссирилли несколько мгновений пристально смотрел ей в глаза и вдруг сжал ее в объятиях.

- Моя душа, жизнь моя! Ты все заставишь меня позабыть, даже мой долг, - сказал он. - Но ведь у тебя такое благородное сердце, ты должна понять меня.

Ванина пролила много слез, и было решено, что он уйдет из Рима только через день.

- Пьетро, - сказала она на следующий день, - вы часто говорили мне, что человек с именем - ну, например, римский князь - и к тому же располагающий большим состоянием мог бы оказать делу свободы большие услуги, если когда-либо Австрия вступит в серьезную войну вдали от наших границ.

- Разумеется, - удивленно сказал Пьетро.

- Ну так вот! Вы отважный человек, вам недостает только высокого положения; я вам предлагаю свою руку и двести тысяч ливров дохода. Согласия отца я добьюсь.

Пьетро бросился к ее ногам. Ванина вся сияла от радости.

- Я люблю вас страстно, - сказал он, - но я бедняк и я слуга своей родины. Чем несчастнее Италия, тем больше должен я хранить верность

ей. Чтобы добиться согласия дона Аздрубале, мне пришлось бы несколько лет играть жалкую роль. Ванина, я отказываюсь от тебя!

Миссирилли спешил связать себя этими словами: мужество его ослабевало.

- На свою беду, - воскликнул он, - я люблю тебя больше жизни, и покинуть Рим для меня страшнее пытки! Ах, зачем Италия еще не избавлена от варваров! С какой радостью я уехал бы с тобою в Америку.

Ванина вся похолодела. Ее руку отвергли! Гордость ее была уязвлена. Но через минуту она бросилась в объятия Миссирилли.

- Никогда еще ты не был мне так дорог! - воскликнула она. - Да, я твоя навеки... Милый мой деревенский лекарь, ты велик, как наши древние римляне!

- Все заботы о будущем, все унылые советы благоразумия позабылись. Это было мгновение чистой любви. И, когда они уже были в состоянии говорить рассудительно, Ванина сказала:

- Я приеду в Романью почти одновременно с тобою. Я прикажу прописать мне лечение на водах в Поретто (*Поретто - курорт близ Форли, в Романье*). Остановлюсь я в нашем замке Сан-Николо, близ Форли (*Форли - города провинций того же названия, в области Романья*)...

- И там жизнь моя соединится с твоею! - воскликнул Миссирилли.

- Отныне мой удел на все дерзать, - со вздохом сказала Ванина. - Я погублю свою честь ради тебя, но все равно... Будешь ли ты любить опозоренную девушку?

- Разве ты не жена мне? - воскликнул Миссирилли. - Обожаемая жена! Я вечно буду тебя любить и сумею постоять за тебя.

Ванине нужно, было ехать в гости. Едва Миссирилли остался один, как его поведение показалось ему варварским. "Что такое родина? - спрашивал он себя. - Ведь эта не какое-нибудь живое существо, к которому мы обязаны питать признательность за благодеяния и которое станет несчастным и будет проклипать нас, если мы изменим ему. Нет, родина и

свобода - это как мой плащ: полезная одежда, которую я должен купить, если только не получил ее в наследство от отца. В сущности, я люблю родину и свободу потому, что они мне полезны. А если они мне не нужны, если они для меня как теплый плащ в летнюю жару, зачем мне покупать их, да еще за столь дорогую цену? Ванина так хороша и так необычайна! За ней будут ухаживать, она позабудет меня. У какой женщины бывает только один возлюбленный? Как гражданин, я презираю всех этих римских князей, но у них столько преимуществ передо мною! Они, должно быть, неотразимы! Да, если я уйду, она позабудет меня, и я навсегда ее потеряю".

Ночью Ванина пришла навестить его. Пьетро рассказал ей о своих колебаниях и о том, как под влиянием любви к ней в душе его возник странный спор о великом слове "родина". Ванина ликовала. "Если ему придется выбирать между мной и родиной, - думала она, - он отдаст предпочтение мне".

На соседней колокольне пробило три часа. Настала минута последнего прощания. Пьетро вырвался из объятий своей подруги. Он уже стал спускаться по лестнице, как вдруг Ванина, сдерживая слезы, сказала ему с улыбкой:

- Послушай, если бы во время твоей болезни о тебе заботилась какая-нибудь деревенская женщина, разве ты ничем не отблагодарил бы ее? Разве не постарался бы заплатить ей? Будущее так неверно! Ты уходишь, в пути вокруг тебя будет столько врагов! Подари мне три дня, заплати мне за мои заботы, как, будто я бедная крестьянка.

Миссирилли остался.

Наконец он покинул Рим и благодаря паспорту, купленному в иностранном посольстве, достиг родительского дома. Это была для семьи великая радость: его уже считали умершим.

Друзья хотели отпраздновать его благополучное возвращение, убив двух-трех карабинеров (так в Папской области называются жандармы).

- Не будем без крайней нужды убивать итальянцев, умеющих владеть оружием, - возразил им Миссирилли. - Наша родина не остров, как счастливица Англия; чтобы сопротивляться вторжению европейских монархов, нам понадобятся солдаты.

Спустя некоторое время Миссирилли, спасаясь от погони, убил двух карабинеров из пистолетов, подаренных ему Ваниной.

За его голову назначили награду.

Ванина все не приезжала в Романью. Миссирилли решил, что он забыт. Самолюбие его было задето; он часто думал теперь о том, что разница в общественном положении воздвигла преграду между ним и его возлюбленной. Однажды, в минуту горьких сожалений о былом счастье, ему пришло в голову вернуться в Рим, узнать, - что делает Ванина. Эта сумасбродная мысль едва не взяла верх над сознанием долга, но вдруг как-то в сумерки церковный колокол зазвонил в горах к вечерне, и так странно, будто на звонаря напала рассеянность. Это был сигнал к собранию венты, в которую Миссирилли вступил, лишь только вернулся в Романью. В ту же ночь все карбонарии встретились в лесу, в обители двух отшельников. Оба они спали крепким сном под действием опиума и даже не подозревали, для каких целей воспользовались их хижиной. Миссирилли пришел очень грустный, и тут ему сказали, что глава венты арестован и что своим новым главой карбонарии решили избрать его, Пьетро, двадцатилетнего юношу, хотя среди них были пятидесятилетние старики - люди, участвовавшие в заговорах со времен похода Мюрата в 1815 году. Принимая эту неожиданную честь, Пьетро почувствовал, как забилося у него сердце. Лишь только он остался один, он принял решение не думать больше о молодой римлянке, так скоро забывшей его, и все свои помыслы отдать долгу.

Два дня спустя Миссирилли в списке прибывших и выехавших лиц, который ему доставляли как главе венты, прочел, что княжна Ванина прибыла в свой замок Сан-Николо. Имя это внесло в его душу радость и смятение. Напрасно он ради преданности родине подавил желание в тот же

вечер помчаться в замок Сан-Николо - мысли о Ванине, которой он пренебрег, не давали ему сосредоточиться на своих обязанностях. На следующий день они встретились; Ванина любила его все так же. Задержалась она в Риме оттого, что отец, желая выдать ее замуж, не отпускал ее. Она привезла с собой две тысячи цехинов (*цехин - старинная золотая венецианская монета*).

Эта неожиданная поддержка очень помогла Миссирилли достойно выполнить его новые почетные обязанности. На острове Корфу заказали кинжалы, подкупили личного секретаря легата (*легат - папский представитель, наделенный большими полномочиями*), руководившего преследованиями карбонариев, и таким путем достали список священников, состоявших шпионами правительства.

Как раз в это время готовился заговор - один из наименее безрассудных, когда-либо возникавших в многострадальной Италии. Я не буду входить в излишние подробности, скажу только, что если бы он увенчался успехом, Миссирилли досталась бы немалая доля славы. Благодаря ему несколько тысяч повстанцев поднялись бы по данному сигналу с оружием в руках и ждали бы прибытия предводителей. Приближалась решительная минута, и вдруг, как это всегда бывает, заговор провалился из-за ареста руководителей.

Лишь только Ванина приехала в Романью, ей показалось, что любовь к родине затмила в сердце Миссирилли всякую иную страсть. Гордость молодой римлянки была возмущена. Напрасно она старалась образумить себя - мрачная тоска томила ее, и она ловила себя на том, что проклинает свободу. Однажды, приехав в Форли повидаться с Миссирилли, она не могла совладать с собой, хотя до тех пор гордость всегда помогала ей скрывать свое горе.

- Вы и в самом деле любите меня, как муж, - сказала она. - Я не этого ждала.

Она разразилась слезами, но плакала она только от стыда, что унизилась до упреков. Миссирилли утешал ее; однако видно было, что он занят своими заботами. И вдруг Ванине пришла в голову мысль бросить его и вернуться в Рим. Она с жестокой радостью подумала, что это будет ей наказанием за слабость: к чему было жаловаться! В минуту молчания намерение ее окрепло, Ванина сочла бы себя недостойной Миссирилли, если б не бросила его. Она с наслаждением думала о его горестном удивлении, когда он будет напрасно ждать, искать ее тут. Но вскоре ее глубоко взволновала мысль, что она не сумела сохранить любовь этого человека, ради которого совершила столько безумств. Прервав молчание, она заговорила с ним. Она всеми силами добивалась хоть одного слова любви. Пьетро отвечал ей ласково, нежно, но так рассеянно... Зато какое глубокое чувство прозвучало в его голосе, когда, коснувшись своих политических замыслов, он скорбно воскликнул:

- Ах, если нас опять постигнет неудача, если и этот заговор раскроют, я уеду из Италии!

Ванина замерла: с каждой минутой ее все сильнее терзал страх, что она видит любимого в последний раз. Слова его заронили роковую искру в ее мысли. "Карбонарии получили от меня несколько тысяч цехинов. Никто не может сомневаться в моем сочувствии заговору..." Прервав свое раздумье, она сказала Пьетро:

- Прошу тебя, поедем со мной в Сан-Николо, только на одни сутки! Сегодня вечером тебе нет необходимости присутствовать на собрании венты. А завтра утром мы уже будем в Сан-Николо, будем бродить по полям; ты отдохнешь, успокоишься, а тебе так нужны все твои силы и самообладание: ведь близятся великие события.

Пьетро согласился.

Ванина ушла от него, чтобы приготовиться к путешествию, и, как обычно, заперла на ключ ту комнату, где прятала его. Она поспешила к бывшей своей горничной, которая вышла замуж и теперь держала лавочку в Форли.

Прибежав к этой женщине, Ванина торопливо написала на полях Часослова (*Часослов - церковная книга, в которой, кроме молитв, есть и церковные песнопения*), оказавшегося в комнате, несколько строк, точно указав место, где должна была собраться ночью вента карбонариев. Она закончила донос следующими словами: "Вента состоит из девятнадцати человек. Вот их имена и адреса". Составив полный список, где отсутствовало только имя Миссирилли, она сказала этой женщине, пользовавшейся ее доверием:

- Отнеси книгу кардиналу-легату (*кардинал - высшее после папы духовное звание у католиков. Кардинал-легат - представитель папы, наделенный особыми полномочиями*). Пусть он прочтет то, что написано на полях, и вернет ее тебе. Вот возьми десять цехинов. Если когда-нибудь легат произнесет твое имя, тебе не миновать смерти; но если ты заставишь его прочесть исписанную страницу, ты спасешь мне жизнь.

Все удалось превосходно. Легат так перепугался, что утратил всю свою вельможную важность. Он разрешил простолюдинке, желавшей поговорить с ним по секретному делу, не снимать маску, но приказал связать ей руки. В таком виде лавочница и появилась перед этим высоким сановником; он не решился выйти из-за огромного стола, покрытого зеленым сукном.

Легат прочел исписанную страницу, держа Часослов очень далеко от себя, из опасения, что книга пропитана каким-нибудь ядом. Затем он возвратил Часослов лавочнице и даже не послал шпионов по ее следам. Не прошло и сорока минут с тех пор как Ванина ушла из дому, а она уже повидалась с возвратившейся горничной и побежала к Миссирилли, твердо веря, что отныне он всецело принадлежит ей. Она сказала ему, что в городе необыкновенное движение, везде ходят патрули, даже по таким улицам, где их никогда не видели.

- Послушайся меня, - добавила она, - уедем сейчас же в Сан-Николо.

Миссирилли согласился. Они вышли пешком из города; неподалеку от заставы Ванину поджидала карета, где сидела ее компаньонка, молчаливая и щедро оплачиваемая наперсница. По приезде в Сан-Николо Ванина в

смятении от своего чудовищного поступка с нежностью льнула к Пьетро. Но когда она говорила ему слова любви, ей казалось, что она разыгрывает комедию. Накануне, совершая предательство, она забыла об угрызениях совести. Обнимая возлюбленного, она думала: "Стоит теперь кому-нибудь сказать Пьетро одно слово, одно только слово - и он навеки возненавидит меня...".

Глубокой ночью в спальню вошел один из слуг Ванины. Человек этот был карбонарий, о чем она и не подозревала. Значит, у Миссирилли были тайны от нее даже в этом? Она содрогнулась. Слуга пришел предупредить Миссирилли, что в эту ночь в Форли оцепили дома девятнадцати карбонариев, а их самих арестовали, когда они возвращались с собрания венты. На них напали врасплох, но все же девяти карбонариям удалось бежать. Десять остальных карабинеры отвели в крепость. Войдя на тюремный двор, один из арестованных бросился в глубокий колодец и разбился насмерть. Ванина переменилась в лице; к счастью для нее, Пьетро этого не заметил: он мог бы прочесть в ее глазах совершенное ею преступление...

- Солдаты гарнизона, - добавил слуга, - оцепили уже все улицы в Форли. Они стоят так близко друг от друга, что могут переговариваться. Жителям разрешают переходить через улицу только в том месте, где стоит офицер.

Когда слуга вышел, Пьетро задумался.

- Сейчас ничего нельзя сделать, - сказал он наконец.

Ванина была ни жива ни мертва; она вздрагивала от каждого взгляда возлюбленного.

- Что с вами, Ванина? Вы какая-то странная сегодня, - сказал он.

Потом стал думать о другом и отвел от нее взгляд. Днем она осмелилась сказать ему:

- Вот еще одна вента раскрыта. Мне думается, вы некоторое время будете жить спокойно.

- Очень спокойно, - промолвил Миссирилли с усмешкой, от которой она

затрепетала.

Ванина решила отправиться в деревню Сан-Николо к священнику, состоявшему, возможно, шпионом иезуитов. К обеду, в семь часов, она вернулась и увидела, что комната, где она спрятала возлюбленного, опустела. Не помня себя она бросилась искать его по всему дому, но нигде не нашла. В полном отчаянии она вернулась в комнату и только тогда заметила на столе записку. Она прочла:

"Я ухожу, чтобы отдать себя в руки легата. Я потерял веру в успех нашего дела: само небо против нас. Кто нас выдал? Должно быть, тот негодяй, который бросился в колодец. Жизнь моя теперь не нужна несчастной Италии, и я не хочу, чтобы товарищи, видя, что только одного меня не арестовали, могли подумать, будто я их предал. Прощайте! Если вы любите меня, приложите все силы, чтобы отомстить за нас. Покарайте, уничтожьте подлого предателя, будь это даже мой отец!"

Ванина упала на стул почти в беспамятстве, терзаясь жестокой мукой. Она не могла произнести ни слова, не уронила ни одной слезы; глаза ее горели.

Наконец она бросилась на колени.

- Боже великий! - воскликнула она. - Прими мой обет! Да, я покараю подлого предателя! Но помоги мне сначала вернуть свободу Пьетро.

Час спустя она уже ехала в Рим. Отец давно торопил ее вернуться. В отсутствие дочери он обещал ее руку князю Ливио Савелли. Как только Ванина приехала, отец боязливо заговорил с ней об этом, к великому его удивлению, она сразу согласилась. В тот же вечер в гостиной графини Вителлески отец почти официально представил ей дону Ливио как жениха, она долго беседовала с ним. Молодой князь был образцом элегантности, держал великолепных лошадей, в обществе его считали весьма остроумным, но очень ветреным; он не мог возбуждать никаких подозрений у правительства. Ванина решила, что, вскружив ему голову, она сделает его исполнителем ее планов. Она рассчитывала, что шпионы не

осмелятся следить за племянником монсиньора Савелли-Катанцара - римского губернатора и министра полиции.

В течение нескольких дней она дарила благосклонным вниманием любезного дона Ливио, а затем объявила ему, что никогда не будет его женой: по ее мнению, у него слишком легкомысленный ум.

- Не будь вы ребенком, - сказала она, - подчиненные вашего дядюшки не имели бы от вас тайн. Например, что собираются сделать с теми карбонариями, которых недавно арестовали в Форли?

Через два дня Ливио пришел сообщить ей, что все арестованные в Форли карбонарии бежали.

С презрительной и горькой улыбкой она остановила на нем взгляд своих огромных черных глаз и за весь вечер не удостоила его ни одним словом.

Через день дон Ливио, краснея, признался ей, что его обманули.

- Но я достал ключ от кабинета дядюшки, - добавил он, - порылся там в бумагах и знаю теперь, что назначена конгрегация, то есть комиссия, составленная из самых влиятельных кардиналов и прелатов; на днях она соберется в величайшей тайне и решит вопрос, где судить этих карбонариев - в Равенне или в Риме. В настоящее время все девять арестованных карбонариев и их вожак, некий Миссирилли, который по глупости добровольно отдался в руки властей, содержатся в замке Леоне.

При слове "глупость" Ванина больно ущипнула князя Ливио.

- Я сама хочу проникнуть вместе с вами в кабинет вашего дядюшки, - сказала она, - и собственными глазами увидеть эти бумаги. Вы, наверно, плохо прочли.

Услышав такие слова, Ливио испугался: Ванина требовала от него почти невозможного; но своенравие этой девушки только усиливало его любовь. Несколько дней спустя Ванина, переодевшись в красивую ливрею, какую носили слуги дома Савелли, провела полчаса в кабинете министра полиции за чтением секретнейших документов. Она вся встрепенулась от радости, найдя среди них "дневник донесений о подсудимом Пьетро

Миссирилли". У нее дрожали руки, когда она держала эти бумаги. Она еще раз перечла его имя и едва не лишилась чувств. Выходя из губернаторского дворца, Ванина позволила Ливио поцеловать ее.

- Вы прекрасно выдерживаете испытания, которым я решила подвергнуть вас.

После такой похвалы молодой князь в угоду Ванине готов был поджечь Ватикан.

В тот вечер давали бал во французском посольстве. Ванина много танцевала и почти все время с Ливио. Он опьянел от счастья - надо было не давать ему опомниться.

- У моего отца бывают иногда странности, - сказала ему однажды Ванина.

- Сегодня утром он прогнал двух слуг, и они пришли ко мне плакаться. Один из них просил, чтобы я устроила его на службу к губернатору, а другой, отставной солдат, служивший в артиллерии при французах, хотел бы получить место в крепости Святого Ангела.

- Я их обоих возьму к себе на службу, - быстро ответил молодой князь.

- А разве я прошу вас об этом? - надменно возразила Ванина. - Я вам в точности передала просьбу этих несчастных людей. Оба должны получить именно то, что они просят.

Ничего не могло быть труднее. Монсиньор Катанцара отнюдь не отличался доверчивостью и допускал в свой дом только людей, хорошо ему известных.

Внешне жизнь Ванины по-прежнему была заполнена всевозможными удовольствиями, но ее мучило раскаяние, и она была очень несчастна. Медлительность событий убивала ее. Поверенный отца достал ей денег. Что делать? Уйти из отцовского дома, уехать в Романью и попытаться устроить побег Пьетро? Мысль безрассудная, но Ванина уже готова была осуществить ее, как вдруг случай сжалился над нею.

Дон Ливио сказал ей:

- Скоро в Рим привезут десять карбонариев венты Миссирилли, а если им

вынесут смертный приговор, казнь произойдет в Романье. Мой дядя добился этого от папы нынче вечером. Во всем Риме только мы с вами знаем эту тайну. Вы довольны мной?

- Вы становитесь настоящим мужчиной, - ответила Ванина. - Подарите мне ваш портрет.

Накануне того дня, когда Миссирилли должны были привезти в Рим, Ванина придумала предлог, чтобы приехать в Читта-Кастеллана. В тюрьме этого города, поместили на ночлег карбонариев, которых пересылали из Романьи в Рим. Утром, когда их отправляли из тюрьмы, она увидела Миссирилли: его везли в тележке одного, закованного в цепи; он был очень бледен, но, казалось, нисколько не пал духом. Какая-то старушка бросила ему букет фиалок. Миссирилли с улыбкой поблагодарил ее.

Ванина увидела возлюбленного и как будто возродилась, почувствовала прилив мужества. Задолго до этой встречи она добилась повышения в должности для аббата Кари, состоявшего экономом в крепости Святого Ангела, куда должны были заключить Миссирилли; она взяла этого добросердечного священника себе в духовники. А в Риме немало веса придает положение духовника княжны, племянницы губернатора.

Процесс форлийских карбонариев не затянулся. Партия ультраконсерваторов не могла помешать, чтобы он состоялся в Риме, но в отместку за это добилась назначения в судебную комиссию самых честолюбивых прелатов (*прелат - представитель высшего католического духовенства*). Председателем комиссии был министр полиции.

Закон против карбонариев совершенно ясен. Форлийские заговорщики не могли питать никакой надежды, но они держались мужественно и весьма искусно защищали свою жизнь. Тем, не менее их не только приговорили к смертной казни, но некоторые судьи даже требовали жестоких пыток, четвертования, отсечения рук и так далее. Министр полиции уже составил себе карьеру (с этого поста прямой путь к красной шапке кардинала), и поэтому у него не было нужды отсекал карбонариям руки; представив

приговор на утверждение, он уговорил папу заменить осужденным смертную казнь долголетним тюремным заключением. Только для Пьетро Миссирилли приговор оставили в силе. Министр видел в нем опасного фанатика, и к тому же Миссирилли уже ранее был приговорен к смерти за убийство двух карабинеров, о котором мы упоминали.

Ванина узнала о приговоре и помиловании через несколько минут после того, как министр вернулся от папы.

На другой день монсиньор Катанцара возвратился домой около полуночи и нигде не мог найти своего камердинера; весьма удивляясь этому, он позвонил несколько раз. Наконец на звонки явился дряхлый и выживший из ума слуга; министр потерял терпение и решил раздеться сам.

Было очень жарко; заперев дверь на ключ, он сбросил с себя платье и, скомкав его, швырнул на стул. Платье было брошено с такой силой, что перелетело через стул, задело за муслиновую гардину, и позади нее обрисовалась человеческая фигура. Министр кинулся к постели и схватил пистолет. Когда он подошел к окну, из-за гардины выступил юноша в лакейской ливрее и шагнул к нему с пистолетом в руке. Увидев это, министр прицелился и уже хотел выстрелить, но юноша сказал ему, смеясь:

- Как, монсиньор! Вы не узнали Ванину Ванини?

- Что означает эта глупая шутка? - гневно спросил министр.

- Поговорим хладнокровно, - сказала Ванина. - Во-первых, ваш пистолет не заряжен.

Министр, к удивлению своему, убедился, что это верно. Тогда он вытащил из жилетного кармана кинжал

Ванина сказала ему очаровательно-властным тоном:

- Сядем, монсиньор.

И преспокойно опустилась на диван.

- Вы одна по крайней мере? - спросил министр.

- Совершенно одна, клянусь вам! - воскликнула Ванина.

Министр поспешил проверить это заявление: он обошел всю комнату, заглянул повсюду. Затем уселся на стул в трех шагах от Ванины.

- Ну, для чего мне, - сказала Ванина спокойно и мягко, - посягать на жизнь благоразумного правителя, на смену которому придет, вероятно, какой-нибудь слабый человек с горячей головой, способный только погубить себя и других?

- Так что же вам угодно, сударыня? - досадливо спросил министр. - Прошу вас кончить как можно скорее эту неподобающую сцену.

- То, что я сейчас скажу, - высокомерно произнесла Ванина, сразу оставив любезный тон, - для вас важнее, чем для меня. Есть люди, которые желают, чтобы Миссирилли сохранили жизнь, если его казнят, вы после этого не проживете и недели. Мне судьба его безразлична; сумасбродную выходку, на которую вы жалуетесь, я позволила себе, во-первых, для забавы, а во-вторых, ради одной из своих подруг. Я хотела также, - продолжала Ванина, возвращаясь к тону светской дамы, - оказать услугу умному человеку, который вскоре будет моим дядей и, по всей видимости, прославит свой род.

Министр сразу смягчился - красота Ванины немало способствовала этой внезапной перемене. В Риме известна была слабость монсеньора Катанцара к красивым женщинам, а Ванина была прелестна с пистолетом в руке, в костюме выездного лакея дома Савелли, в шелковых, туго натянутых чулках, красном камзоле и голубом кафтане, обшитом серебряным позументом.

- Будущая моя племянница, - сказал министр, развеселившись, - вы действительно позволили себе сумасбродную выходку, и, вероятно, не последнюю.

- Надеюсь, что такой благоразумный человек, как вы, сохранит ее в тайне от всех, особенно от Ливио; а чтобы побудить вас к этому, я вас поцелую, если вы подарите жизнь карбонарию, которому покровительствует моя подруга.

Беседа продолжалась в том же полушутливом тоне, каким знатные римлянки умеют обсуждать важные дела, и Ванине удалось придать этой встрече, начавшейся с угрозы пистолетом, характер визита будущей княгини Савелли к ее дяде, римскому губернатору.

Вскоре монсиньор Катанцара, надменно отбросив всякую мысль, что его припугнули, уже рассказывал племяннице, какие препятствия его ожидают, если он решит спасти жизнь Миссирилли. Говоря об этом, он ходил вместе с нею по комнате; остановившись на минуту, он взял с камина графин и налил из него в хрустальный стакан лимонаду; когда он уже поднес его к губам, Ванина завладела этим стаканом, подержала в руке и, словно нечаянно, уронила его в сад. Через минуту министр взял из бонбоньерки шоколадную конфету. Ванина отняла ее и сказала, смеясь:

- Берегитесь! У вас здесь все отравлено: вас хотели умертвить. А я добилась помилования своего будущего дяди, чтобы не войти в семейство Савелли с пустыми руками.

Монсиньор Катанцара удивленно поблагодарил племянницу и подал ей большие надежды на помилование Миссирилли.

- Итак, мы заключили сделку, и в подтверждение ее вот вам награда, - сказала Ванина, целуя его.

Министр принял награду.

- Надо вам сказать, дорогая Ванина, - заметил он, - что я сам не люблю крови. И к тому же я еще молод, хотя вам, вероятно, кажусь стариком. Я, пожалуй, доживу до такого времени, когда кровь, пролитая сегодня, выступит позорным пятном.

Пробило уже два часа ночи, когда монсиньор Катанцара проводил Ванину до калитки своего сада.

Через день министр явился к папе, весьма смущенный тем шагом, который ему предстояло сделать, и вдруг его святейшество сказал ему:

- Прежде всего я хочу воззвать к вашему милосердию. Одному из форлийских карбонариев приговор не смягчен, и мысль об этом лишила меня сна. Надо спасти этого человека.

Министр, видя, что папа опередил его, представил множество возражений и в конце концов написал указ по собственному побуждению, который папа подписал сам, вопреки обычаю.

Ванина думала, что она, может быть, и добьется помилования своего возлюбленного, но его постараются отравить. Еще накануне папского указа Миссирилли получил от аббата Кари, духовника Ванины, несколько пакетов с морскими сухарями и предупреждение не притрагиваться к казенной пище.

Затем Ванина узнала, что форлийских карбонариев переводят в крепость Сан-Леоне, и решила во что бы то ни стало увидеться с Миссирилли на этапе в Читта-Кастеллана. Она приехала в этот город за сутки до прибытия узников. Там она встретила аббата Кари, который прибыл раньше ее на несколько дней. Он убедил смотрителя тюрьмы разрешить Миссирилли присутствовать на полуночной службе в тюремной часовне. И даже больше: если Миссирилли согласится, чтобы ему надели цепи на руки и на ноги, смотритель обещал отойти к дверям часовни, - тогда он не упустит из виду узника, за которого несет ответственность, но не будет прислушиваться к разговору.

Настал наконец день, когда должна была решиться судьба Ванины. Уже с утра она заперлась в тюремной часовне. Кто скажет, какие мысли волновали ее весь этот долгий день? Любит ли ее Пьетро настолько, что все простит? Она выдала венту, но ему она спасла жизнь. Когда голос рассудка брал верх над смятением души, Ванина надеялась, что Пьетро согласится покинуть Италию, уехать вместе с нею, - ведь она согрешила только от избытка любви. Пробыло четыре часа. Она услышала вдалеке стук конских копыт: в город въехал конвой карабинеров. Каждый звук отдавался в ее сердце. Вскоре загрохотали телеги: везли осужденных. Они остановились на

маленькой площади перед тюрмой. Ванина видела, как два карабинера приподняли Миссирилли, - он ехал один, скованный цепями, и не мог пошевелиться.

- Но все-таки он жив! - шептала она со слезами на глазах. - Они еще не отравили его.

Этот вечер был пыткой. Высоко над алтарем горела одинокая лампада, в которую тюремщик скупно наливал масло, и свет ее чуть брезжил в темной часовне. Ванина окидывала взглядом гробницы средневековых вельмож, умерших в соседней тюрьме. Их каменные изваяния, казалось, злобно смотрели на нее.

Все уже давно затихло. Ванина ждала, погружившись в мрачные мысли. Пробило полночь, и вскоре послышался какой-то шелест, словно летучая мышь пролетела. Ванина повернулась, хотела шагнуть и почти без чувств поникла на балюстраду, отделявшую алтарь. В то же мгновение два призрака неслышно выросли перед ней. Это были тюремщик и Миссирилли, весь опутанный цепями. Тюремщик открыл дверцу фонаря и поставил его на столбик решетки рядом с Ваниной, чтобы свет падал на узника, затем отошел к дверям. Едва тюремщик удалился, Ванина бросилась Миссирилли на грудь, сжала его в объятиях и ощутила холодные острые грани цепей. "Кто его заковал?" - думала она. Объятие было безрадостным. А вслед за этим ее пронзила жестокая боль: ей показалось вдруг, что Миссирилли знает о ее преступлении, - так холодно он встретил ее.

- Дорогой друг, - сказал он наконец. - Я глубоко сожалею, что вы полюбили меня. Не вижу в себе достоинств, которыми я мог бы заслужить такую любовь. И поверьте, лучше нам обратиться к другим, более священным чувствам. Оставим заблуждения, когда-то ослеплявшие нас. Я не могу принадлежать вам. Постоянные неудачи преследовали все мои начинания - быть может, оттого, что я находился во власти смертного греха. Ведь если внять хотя бы только голосу здравого рассудка, так почему я не был арестован вместе со всеми моими товарищами в ту роковую ночь?

Почему в минуту опасности я покинул свой пост? Почему мое отсутствие дало повод к ужаснейшим подозрениям? Не одну лишь свободу Италии возлюбил я - мною владела иная страсть.

Ванина не могла прийти в себя от изумления. Как переменился Миссирилли! Он не очень исхудал, но на вид ему можно было дать лет тридцать. Ванина подумала, что виною этому мучения, перенесенные им в тюрьме, и заплакала.

- Ах, - воскликнула она, - ведь тюремщики обещали мне не обращаться с тобою жестоко!

Она не знала, что близость смерти пробудила в душе юного карбонария все те религиозные чувства, какие только могли сочетаться с его служением свободе Италии. Но мало-помалу Ванина поняла, что разительная перемена в ее возлюбленном вызвана нравственными причинами, а вовсе не физическими страданиями. И горе ее, казалось, уже достигшее последнего предела, возросло еще больше.

Миссирилли молчал. Ванина задыхалась от рыданий. Он и сам был немного взволнован и сказал:

- Если я и любил кого-нибудь в целом мире, то только вас, Ванина. Но благодаря богу у меня теперь лишь одна цель в жизни, и я умру в тюрьме или погибну в борьбе за свободу Италии.

Опять настало молчание. Ванина пыталась сказать хоть слово и не могла. Миссирилли добавил:

- Требования долга суровы, мой друг, но если бы их легко было выполнить, в чем же заключался бы героизм? Дайте мне слово, что вы больше не будете искать встречи со мной. - И насколько позволяли цепи, он пошевелил рукой и попытался протянуть ее Ванине. - Позвольте человеку, который когда-то был для вас дорог, дать вам благоразумный совет: отец нашел для вас достойного жениха - выходите за него. Не делайте ему тягостных признаний, не ищите больше и встречи со мною. Будем отныне чужими друг другу. Вы пожертвовали немалые деньги на дело

освобождения родины. Если когда-нибудь она будет избавлена от тиранов, эти деньги вам возвратят полностью из национального имущества.

Ванина была потрясена: за все время разговора взгляд Пьетро заблестел только в то мгновение, когда он произнес слово "родина".

Наконец гордость пришла на помощь княжне. Она ничего не ответила Миссирилли, только протянула ему бриллианты и маленькие пилки, которые принесла с собою.

- Я обязан принять их, - сказал он. - Мой долг - попытаться бежать. Но, невзирая на новое ваше благодеяние, я больше никогда не увижу вас – клянусь в этом! Прощайте, Ванина! Дайте слово никогда не писать мне, никогда не искать свидания со мной. Отныне я всецело принадлежу родине. Я умер для вас. Прощайте!

- Нет! - иступленно воскликнула Ванина. - Подожди. Я хочу, чтобы ты узнал, что я сделала из любви к тебе.

И тут она рассказала о всех своих стараниях спасти его, с того дня, как он ушел из замка Сан-Николо и отдал себя в руки легата. Закончив этот рассказ, она шепнула:

- Но все это еще такая малость! Я сделала больше из любви к тебе.

И она рассказала о своем предательстве.

- О чудовище! - в ярости крикнул Пьетро и бросился к ней, пытаясь убить ее своими цепями. И он убил бы ее, если бы на крик не прибежал тюремщик. Он схватил Миссирилли.

- Возьми, чудовище! Я не хочу ничем быть тебе обязанным! - воскликнул Миссирилли.

Насколько позволяли цепи, он швырнул Ванине алмазы и пилки и быстро вышел.

Ванина была совершенно уничтожена. Она возвратилась в Рим; вскоре газеты сообщили о ее бракосочетании с князем Ливио Савелли.

ПРОСПЕР МЕРИМЕ

(1803-1870)

Француз Проспер Мериме известен нам как писатель. Его книги давно переведены на русский язык. По мотивам его произведений написаны оперы и сняты кинокартины. Однако он был также историком, этнографом, археологом и переводчиком, академиком и сенатором. Если читатель хочет погрузиться в прошлое, описанное подробно до мельчайших деталей, то произведения Мериме – хороший способ совершить путешествие во времени.

Детство и юность

Единственный сын богатых родителей родился в Париже 28 сентября 1803 года. Общим увлечением химика Жана Франсуа Леонора Мериме и его супруги, в девичестве Анны Моро, была живопись. За столом в гостиной собирались художники и литераторы, музыканты и философы. Разговоры об искусстве сформировали интересы мальчика: он с большим вниманием рассматривал картины и увлеченно читал сочинения вольнодумцев XVIII века.

Он свободно владел латынью и с раннего детства говорил по-английски. Англофильство было традицией в семье. Прабабушка Проспера, Мари Лепренс де Бомон, семнадцать лет прожила в Англии. Его бабушка Моро вышла замуж в Лондоне. В дом заходили молодые англичане, бравшие у Жана Франсуа Леонора частные уроки живописи.

Несколько лет раннего детства Проспер провел в Далмации, где его отец состоял при маршале Мармоне. Эта деталь биографии писателя объясняет глубокое и эмоциональное восприятие им народной поэзии, мотивы которой Мериме со временем вплетал в своё творчество. В восемь лет Проспер экстерном поступил в седьмой класс Императорского лицея, а после выпуска по настоянию отца изучал право в Сорбонне.

Отец мечтал о карьере адвоката для сына, но юноша отнесся к этой перспективе без восторга. Окончив университет, молодой Мериме был

назначен секретарём графа д'Аргу, одного из влиятельных французских министров. Позже стал главным инспектором исторических памятников Франции. Изучение памятников искусства и архитектуры стимулировало творческую энергию писателя и служило источником вдохновения.

Литературная деятельность

Путь в литературе Проспер Мериме начал с мистификации. Автором сборника его первых пьес была названа некая испанка Клара Гасуль, не существовавшая в реальности. Вторая книга Мериме – сборник сербских народных песен «Гузла». Как оказалось, автор текстов не собирал их в Далмации, а попросту сочинил. Подделка Мериме оказалась столь талантливой, что ввела в заблуждение даже А. Мицкевича и А. Пушкина.

Историческая драма «Жакерия» уже не ставила задачи ввести читателя в заблуждение, а рисовала картину средневекового крестьянского восстания во всех неприглядных подробностях. Столь же детально и реалистично описана борьба за власть феодалов и клерикалов в «Хронике царствования Карла IX» - единственном романе писателя.

Однако мировую славу Просперу Мериме принесли новеллы. Наиболее известна читателю «Кармен». Рассказ из жизни свободолюбивых испанских цыган был переложен для сцены, дополнен музыкой и красочными танцами, экранизирован. Красивая история трагичной любви цыганки и испанца до сих пор волнует читателей и зрителей. Не менее ярко выписаны образы в остальных «народных» и «экзотических» новеллах. Например, беглый раб в «Таманго». Путешествуя по Европе, Мериме тонко подмечал характерные национальные черты народов и наделял ими персонажей. Корсиканцы вдохновили его на создание «Маттео Фальконе» и «Коломбы». Сюжет «Венеры Илльской» писатель тоже задумал в путешествии. Создание мистической атмосферы далось автору нелегко, но он справился с работой блестяще. Этот рассказ Проспер Мериме называл своим шедевром.

МАТТЕО ФАЛЬКОНЕ

Если пойти на северо-запад от Порто-Веккьо [город и порт на юго-восточном побережье Корсики], вглубь острова, то местность начнет довольно круто подниматься, и после трехчасовой ходьбы по извилистым тропкам, загроможденным большими обломками скал и кое-где пересеченным оврагами, выйдешь к обширным зарослям маки. Маки - родина корсиканских пастухов и всех, кто не в ладах с правосудием. Надо сказать, что корсиканский земледелец, не желая брать на себя труд унавоживать свое поле, выжигает часть леса: не его забота, если огонь распространится дальше, чем это нужно; что бы там ни было, он уверен, что получит хороший урожай на земле, удобренной золой сожженных деревьев. После того как колосья собраны (солону оставляют, так как ее трудно убирать), корни деревьев, оставшиеся в земле нетронутыми, пускают на следующую весну частые побеги; через несколько лет они достигают высоты в семь-восемь футов. Вот эта-то густая поросль и называется маки. Она состоит из самых разнообразных деревьев и кустарников, перепутанных как попало. Только с топором в руке человек может проложить в них путь; а бывают маки такие густые и непроходимые, что даже муфлоны [порода диких баранов, более крупных, чем домашние, и с более грубой шерстью] не могут пробраться сквозь них.

Если вы убили человека, бегите в маки Порто-Веккьо, и вы проживете там в безопасности, имея при себе доброе оружие, порох и пули; не забудьте прихватить с собой коричневый плащ с капюшоном - он заменит вам и одеяло и подстилку. Пастухи дадут вам молока, сыра и каштанов, и вам нечего бояться правосудия или родственников убитого, если только не появится необходимость спуститься в город, чтобы пополнить запасы пороха.

Когда в 18... году я посетил Корсику [в действительности Мериме,

работая над новеллой, еще ни разу не был на Корсике; он посетил этот остров лишь в сентябре 1839 года (о чем он рассказал в "Заметках о путешествии по Корсике", 1840)], дом Маттео Фальконе находился в полумиле от этого маки. Маттео Фальконе был довольно богатый человек по тамошним местам; он жил честно, то есть ничего не делая, на доходы от своих многочисленных стад, которые пастухи-кочевники пасли в горах, перегоняя с места на место. Когда я увидел его два года спустя после того происшествя, о котором я намереваюсь рассказать, ему нельзя было дать более пятидесяти лет. Представьте себе человека небольшого роста, но крепкого, с вьющимися черными, как смоль, волосами, орлиным носом, тонкими губами, большими живыми глазами и лицом цвета невыделанной кожи. Меткость, с которой он стрелял из ружья, была необычной даже для этого края, где столько хороших стрелков. Маттео, например, никогда не стрелял в муфлона дробью, но на расстоянии ста двадцати шагов убивал его наповал выстрелом в голову или в лопатку - по своему выбору. Ночью он владел оружием так же свободно, как и днем. Мне рассказывали о таком примере его ловкости, который мог бы показаться неправдоподобным тому, кто не бывал на Корсике. В восьмидесяти шагах от него ставили зажженную свечу за листом прозрачной бумаги величиной с тарелку. Он прицеливался, затем свечу тушили, и спустя минуту в полной темноте он стрелял и три раза из четырех пробивал бумагу.

Такое необыкновенно высокое искусство доставило Маттео Фальконе большую известность. Его считали таким же хорошим другом, как и опасным врагом; впрочем, услужливый для друзей и щедрый к бедным, он жил в мире со всеми в округе Порто-Веккьо. Но о нем рассказывали, что в Корте, откуда он взял себе жену, он жестоко расправился с соперником, который слыл за человека опасного, как на войне, так и в любви; по крайней мере, Маттео приписывали выстрел из ружья, который настиг соперника в ту минуту, когда тот брился перед зеркальцем, висевшим у окна. Когда эту историю замяли, Маттео женился. Его жена Джузеппа родила ему сначала трех дочерей (что приводило его в ярость) и наконец сына, которому он дал имя

Фортунато, - надежду семьи и продолжателя рода. Дочери были удачно выданы замуж: в случае чего отец мог рассчитывать на кинжалы и карабины зятьев. Сыну исполнилось только десять лет, но он подавал уже большие надежды.

Однажды ранним осенним утром Маттео с женой отправились в маки поглядеть на свои стада, которые паслись на прогалине. Маленький Фортунато хотел идти с ними, но пастбище было слишком далеко, кому-нибудь надо было остаться стеречь дом, и отец не взял его с собой. Из дальнейшего будет видно, как ему пришлось в том раскаяться.

Прошло уже несколько часов, как они ушли; маленький Фортунато спокойно лежал на самом солнцепеке и, глядя на голубые горы, думал, что в будущее воскресенье он пойдет обедать в город к своему дяде, как вдруг его размышления были прерваны ружейным выстрелом. Он вскочил и повернулся в сторону равнины, откуда донесся этот звук. Снова через неравные промежутки времени послышались выстрелы, все ближе и ближе; наконец на тропинке, ведущей от равнины к дому Маттео, показался человек, покрытый лохмотьями, обросший бородой, в остроконечной шапке, какие носят горцы. Он с трудом передвигал ноги, опираясь на ружье. Его только что ранили в бедро.

Это был бандит, который, отправившись ночью в город за порохом, попал в засаду корсиканских вольтижеров. Он яростно отстреливался и в конце концов сумел спастись от погони, прячась за уступы скал. Но он не намного опередил солдат: рана не позволила ему добежать до маки.

Он подошел к Фортунато и спросил:

- Ты сын Маттео Фальконе?

- Да.

- Я Джаннетто Санпьери. За мной гонятся желтые воротники. Спрячь меня, я не могу больше идти.

- А что скажет отец, если я спрячу тебя без его разрешения?

- Он скажет, что ты хорошо сделал.

- Как знать!

- Спрячь меня скорей, они идут сюда!

- Подожди, пока вернется отец.

- Ждать? Проклятье! Да они будут здесь через пять минут. Ну же, спрячь меня скорей, а не то я убью тебя!

Фортуато ответил ему с полным хладнокровием:

- Ружье твоё разряжено, а в твоей carchera нет больше патронов.

- При мне кинжал.

- Где тебе угнаться за мной!

Одним прыжком он очутился вне опасности.

- Нет, ты не сын Маттео Фальконе! Неужели ты позволишь, чтобы меня схватили возле твоего дома?

Это, видимо, подействовало на мальчика.

- А что ты мне дашь, если я спрячу тебя? - спросил он, приближаясь.

Бандит пошарил в кожаной сумке, висевшей у него на поясе, и вынул оттуда пятифранковую монету, которую он, вероятно, припрятал, чтобы купить пороху. Фортуато улыбнулся при виде серебряной монеты; он схватил ее и сказал Джаннетто:

- Не бойся ничего.

Тотчас же он сделал большое углубление в копне сена, стоявшей возле дома. Джаннетто свернулся в нем клубком, и мальчик прикрыл его сеном так, чтобы воздух проникал туда и ему было чем дышать. Никому бы и в голову не пришло, что в копне кто-то спрятан. Кроме того, с хитростью дикаря он придумал еще одну уловку. Он притащил кошку с котятами и положил ее на сено, чтобы казалось, будто его давно уже не ворошили. Потом, заметив следы крови на тропинке у дома, он тщательно засыпал их землей и снова как ни в чем не бывало растянулся на солнцепеке.

Несколько минут спустя шестеро стрелков в коричневой форме с желтыми воротниками под командой сержанта уже стояли перед домом Маттео. Этот сержант приходился дальним родственником Фальконе. (Известно, что на

Корсике более чем где-либо считаются родством.) Его звали Теодоро Гамба. Это был очень деятельный человек, гроза бандитов, которых он переловил немало.

- Здорово, племянничек! - сказал он, подходя к Фортунато. - Как ты вырос! Не проходил ли тут кто-нибудь сейчас?

- Ну, дядя, я еще не такой большой, как вы! - ответил мальчик с простодушным видом.

- Подрастешь! Ну, говори же: тут никто не проходил?

- Проходил ли здесь кто-нибудь?

- Да, человек в остроконечной бархатной шапке и в куртке, расшитой красным и желтым.

- Человек в остроконечной бархатной шапке и куртке, расшитой красным и желтым?

- Да. Отвечай скорей и не повторяй моих вопросов.

- Сегодня утром мимо нас проехал священник на своей лошади Пьеро. Он спросил, как поживает отец, и я ответил ему...

- Ах, шельмец! Ты хитришь! Отвечай скорей, куда девался Джаннетто, мы его ищем. Он прошел по этой тропинке, я в этом уверен.

- Почему я знаю?

- Почему ты знаешь? А я вот знаю, что ты его видел.

- Разве видишь прохожих, когда спишь?

- Ты не спал, плут! Выстрелы разбудили тебя.

- Вы думаете, дядюшка, что ваши ружья так громко стреляют? Отцовский карабин стреляет куда громче.

- Черт бы тебя побрал, проклятое отродье! Я уверен, что ты видел Джаннетто. Может быть, даже спрятал его. Ребята! Входите в дом, поищите там нашего беглеца. Он ковылял на одной лапе, а у этого мерзавца слишком много здравого смысла, чтобы попытаться дойти до маки хромяя. Да и следы крови кончаются здесь.

- А что скажет отец? - спросил Фортунато насмешливо. - Что он скажет, когда узнает, что без него входили в наш дом?

- Мошенник! - сказал Гамба, хватая его за ухо. - Стоит мне только захотеть, и ты запоешь по-иному! Следует, пожалуй, дать тебе десятка два ударов саблей плашмя, чтобы ты наконец заговорил.

А Фортунато продолжал посмеиваться.

- Мой отец - Маттео Фальконе! - сказал он значительно.

- Знаешь ли ты, плутишка, что я могу увезти тебя в Корте [город в центре Корсики] или в Бастию [город и порт на северо-восточном побережье Корсики], бросить в тюрьму на солому, заковать в кандалы и отрубить голову, если ты не скажешь, где Джаннетто Санпьеро?

Мальчик расхохотался, услышав такую смешную угрозу. Он повторил:

- Мой отец - Маттео Фальконе.

- Сержант! - тихо сказал один из вольтижеров. - Не надо ссориться с Маттео.

Гамба был явно в затруднении. Он вполголоса переговаривался с солдатами, которые успели уже осмотреть весь дом. Это заняло не так много времени, потому что жилище корсиканца состоит из одной квадратной комнаты. Стол, скамейки, сундук, домашняя утварь и охотничьи принадлежности - вот и вся его обстановка. Маленький Фортунато гладил тем временем кошку и, казалось, ехидствовал над замешательством вольтижеров и дядюшки.

Один из солдат подошел к копне сена. Он увидел кошку и, небрежно ткнув штыком в сено, пожал плечами, как бы сознавая, что такая предосторожность нелепа. Ничто не пошевелилось, лицо мальчика не выразило ни малейшего волнения.

Сержант и его отряд теряли терпение; они уже поглядывали на равнину, как бы собираясь вернуться туда, откуда пришли, но тут их начальник, убедившись, что угрозы не производят никакого впечатления на сына Фальконе, решил сделать последнюю попытку и испытать силу ласки и

подкупа.

- Племянник! - проговорил он. - Ты, кажется, славный мальчик. Ты пойдешь далеко. Но, черт побери, ты ведешь со мной дурную игру, и, если бы не боязнь огорчить моего брата Маттео, я увел бы тебя с собой.

- Еще чего!

- Но когда Маттео вернется, я расскажу ему все, как было, и за твою ложь он хорошенько выпорот тебя.

- Посмотрим!

- Вот увидишь... Но слушай: будь умником, и я тебе что-то дам.

- А я, дядюшка, дам вам совет: если вы будете медлить, Джаннетто уйдет в маки, и тогда потребуется еще несколько таких молодчиков, как вы, чтобы его догнать.

Сержант вытащил из кармана серебряные часы, которые стоили добрых десять экю, и, заметив, что глаза маленького Фортунато загорелись при виде их, сказал ему, держа часы на весу за конец стальной цепочки:

- Плутиска! Тебе бы, наверно, хотелось носить на груди такие часы, ты прогуливался бы по улицам Порто-Веккьо гордо, как павлин, и когда прохожие спрашивали бы у тебя: "Который час?" - ты отвечал бы: "Поглядите на мой часы".

- Когда я вырасту, мой дядя капрал подарит мне часы.

- Да, но у сына твоего дяди уже есть часы... правда, не такие красивые, как эти... а ведь он моложе тебя.

Мальчик вздохнул.

- Ну что ж, хочешь ты получить эти часы, племянничек?

Фортунато, искоса поглядывавший на часы, походил на кота, которому подносят целого цыпленка. Чувствуя, что его дразнят, он не решается запустить в него когти, время от времени отводит глаза, чтобы устоять против соблазна, поминутно облизывается и всем своим видом словно говорит хозяину: "Как жестока ваша шутка!"

Однако сержант Гамба, казалось, и впрямь решил подарить ему часы. Фортунато не протянул руки за ними, но сказал ему с горькой усмешкой:

- Зачем вы смеетесь надо мной?

- Ей-богу, не смеюсь. Скажи только, где Джаннетто, и часы твои.

Фортунато недоверчиво улыбнулся, его черные глаза впились в глаза сержанта, он старался прочесть в них, насколько можно верить его словам.

- Пусть с меня снимут эполеты, - вскричал сержант, - если ты не получишь за это часы! Солдаты будут свидетелями, что я не откажусь от своих слов.

Говоря так, он все ближе и ближе подносил часы к Фортунато, почти касаясь ими бледной щеки мальчика. Лицо Фортунато явно отражало вспыхнувшую в его душе борьбу между страстным желанием получить часы и долгом гостеприимства. Его голая грудь тяжело вздымалась - казалось, он сейчас задохнется. А часы покачивались перед ним, вертелись, то и дело задевая кончик его носа. Наконец Фортунато нерешительно потянулся к часам, пальцы правой руки коснулись их, часы легли на его ладонь, хотя сержант все еще не выпускал из рук цепочку... Голубой циферблат... Ярко начищенная крышка... Она огнем горит на солнце... Искушение было слишком велико.

Фортунато поднял левую руку и указал большим пальцем через плечо на копну сена, к которой он прислонился. Сержант сразу понял его. Он отпустил конец цепочки, и Фортунато почувствовал себя единственным обладателем часов. Он вскочил стремительнее лани и отбежал на десять шагов от копны, которую вольтижеры принялись тотчас же раскидывать.

Сено зашевелилось, и окровавленный человек с кинжалом в руке вылез из копны; он попытался стать на ноги, но запекшаяся рана не позволила ему этого. Он упал. Сержант бросился на него и вырвал кинжал. Его сейчас же связали по рукам и ногам, несмотря на сопротивление.

Лежа на земле, скрученный, как вязанка хвороста, Джаннетто повернул голову к Фортунато, который подошел к нему.

- ...сын! - сказал он скорее презрительно, чем гневно.

Мальчик бросил ему серебряную монету, которую получил от него, - он сознавал, что уже не имеет на нее права, - но преступник, казалось, не обратил на это никакого внимания. С полным хладнокровием он сказал сержанту:

- Дорогой Гамба! Я не могу идти; вам придется нести меня до города.

- Ты только что бежал быстрее козы, - возразил жестокий победитель. - Но будь спокоен: от радости, что ты наконец попался мне в руки, я бы пронес тебя на собственной спине целую милю, не чувствуя усталости. Впрочем, приятель, мы сделаем для тебя носилки из веток и твоего плаща, а на ферме Кресполи найдем лошадей.

- Ладно, - молвил пленник, - прибавьте только немного соломы на носилки, чтобы мне было удобнее.

Пока вольтижеры были заняты - кто приготовлением носилок из ветвей каштана, кто перевязкой раны Джаннетто, - на повороте тропинки, ведущей в маки, вдруг появились Маттео Фальконе и его жена. Женщина с трудом шла, согнувшись под тяжестью огромного мешка с каштанами, в то время как муж шагал налегке с одним ружьем в руках, а другим - за спиной, ибо никакая ноша, кроме оружия, недостойна мужчины.

При виде солдат Маттео прежде всего подумал, что они пришли его арестовать. Откуда такая мысль? Разве у Маттео были какие-нибудь нелады с властями? Нет, имя его пользовалось доброй славой. Он был, что называется, благонамеренным обывателем, но в то же время корсиканцем и горцем, а кто из корсиканцев-горцев, хорошенько порывшись в памяти, не найдет у себя в прошлом какого-нибудь грешка: ружейного выстрела, удара кинжалом или тому подобного пустячка? Совесть Маттео была чище, чем у кого-либо, ибо вот уже десять лет, как он не направлял дула своего ружья на человека, но все же он был настороже и приготовился стойко защищаться, если это понадобится.

- Жена! - сказал он Джузеппе. - Положи мешок и будь наготове.

Она тотчас же повиновалась. Он передал ей ружье, которое висело у него за спиной и могло ему помешать. Второе ружье он взял на прицел и стал медленно приближаться к дому, держась ближе к деревьям, окаймлявшим дорогу, готовый при малейшем враждебном действии укрыться за самый толстый ствол, откуда он мог бы стрелять из-за прикрытия. Джузеппа шла за ним следом, держа второе ружье и патронташ. Долг хорошей жены - во время боя заряжать ружье для своего мужа.

Сержанту тоже стало как-то не по себе, когда он увидел медленно приближавшегося Маттео с ружьем наготове и пальцем на курке.

"А что, - подумал он, - если Маттео - родственник или друг Джаннетто и захочет его защищать? Тогда двое из нас наверняка получат пули его ружей, как письма с почты. Ну, а если он прицелится в меня, несмотря на наше родство?.."

Наконец он принял смелое решение - пойти навстречу Маттео и, как старому знакомому, рассказать ему обо всем случившемся. Однако короткое расстояние, отделявшее его от Маттео, показалось ему ужасно длинным.

- Эй, приятель! - закричал он. - Как поживаешь, дружище? Это я, Гамба, твой родственник!

Маттео, не говоря ни слова, остановился; пока сержант говорил, он медленно поднимал дуло ружья так, что оно оказалось направленным в небо в тот момент, когда сержант приблизился.

- Добрый день, брат! - сказал сержант, протягивая ему руку. - Давненько мы не виделись.

- Добрый день, брат!

- Я зашел мимоходом поздороваться с тобой и сестрицей Пеппой. Сегодня мы сделали изрядный конец, но у нас слишком знатная добыча, и мы не можем жаловаться на усталость. Мы только что накрыли Джаннетто Санпьери.

- Слава богу! - вскричала Джузеппа. - На прошлой неделе он увел у нас дойную козу.

Эти слова обрадовали Гамбу.

- Бедняга! - отозвался Маттео. - Он был голоден!

- Этот негодяй защищался, как лев, - продолжал сержант, слегка раздосадованный. - Он убил одного моего стрелка и раздробил руку капралу Шардону; ну, да это беда невелика: ведь Шардон - француз... А потом он так хорошо спрятался, что сам дьявол не сыскал бы его. Если бы не мой племянник Фортунато, я никогда бы его не нашел.

- Фортунато? - вскричал Маттео.

- Фортунато? - повторила Джузеппа.

- Да! Джаннетто спрятался вон в той копне сена, но племянник раскрыл его хитрость. Я расскажу об этом его дяде капралу, и тот пришлет ему в награду хороший подарок. А я упомяну и его и тебя в донесении на имя прокурора.

- Проклятье! - чуть слышно произнес Маттео.

Они подошли к отряду. Джаннетто лежал на носилках, его собирались унести. Увидев Маттео рядом с Гамбой, он как-то странно усмехнулся, а потом, повернувшись лицом к дому, плюнул на порог и сказал:

- Дом предателя!

Только человек, обреченный на смерть, мог осмелиться назвать Фальконе предателем. Удар кинжала немедленно отплатил бы за оскорбление, и такой удар не пришлось бы повторять.

Однако Маттео поднес только руку ко лбу, как человек, убитый горем.

Фортунато, увидев отца, ушел в дом. Вскоре он снова появился с миской молока в руках и, опустив глаза, протянул ее Джаннетто.

- Прочь от меня! - громовым голосом закричал арестованный.

Затем, обернувшись к одному из вольтижеров, он промолвил:

- Товарищ! Дай мне напиться.

Солдат подал ему флягу, и бандит отпил воду, поднесенную рукой человека, с которым он только что обменялся выстрелами. Потом он попросил не скручивать ему руки за спиной, а связать их крестом на груди.

- Я люблю лежать удобно, - сказал он.

Его просьбу с готовностью исполнили; затем сержант подал знак к выступлению, простился с Маттео и, не получив ответа, быстрым шагом двинулся к равнине.

Прошло около десяти минут, а Маттео все молчал. Мальчик тревожно поглядывал то на мать, то на отца, который, опираясь на ружье, смотрел на сына с выражением сдержанного гнева.

- Хорошо начинаешь! - сказал наконец Маттео голосом спокойным, но страшным для тех, кто знал этого человека.

- Отец! - вскричал мальчик; глаза его наполнились слезами, он сделал шаг вперед, как бы собираясь упасть перед ним на колени.

Но Маттео закричал:

- Прочь!

И мальчик, рыдая, остановился неподвижно в нескольких шагах от отца.

Подошла Джузеппа. Ей бросилась в глаза цепочка от часов, конец которой торчал из-под рубашки Фортунато.

- Кто дал тебе эти часы? - спросила она строго.

- Дядя сержант.

Фальконе выхватил часы и, с силой швырнув о камень, разбил их вдребезги.

- Жена! - сказал он. - Мой ли это ребенок?

Смуглые щеки Джузеппы стали краснее кирпича.

- Опомнись, Маттео! Подумай, кому ты это говоришь!

- Значит, этот ребенок первый в нашем роду стал предателем.

Рыдания и всхлипывания Фортунато усилились, а Фальконе по-прежнему не сводил с него своих рысьих глаз. Наконец он стукнул прикладом о землю и, вскинув ружье на плечо, пошел по дороге в маки, приказав Фортунато следовать за ним. Мальчик повиновался.

Джузеппа бросилась к Маттео и схватила его за руку.

- Ведь это твой сын! - вскрикнула она дрожащим голосом, впиваясь

черными глазами в глаза мужа и словно пытаюсь прочесть то, что творилось в его душе.

- Оставь меня, - сказал Маттео. - Я его отец!

Джузеппа поцеловала сына и, плача, вернулась в дом. Она бросилась на колени перед образом богоматери и стала горячо молиться. Между тем Фальконе, пройдя шагов двести по тропинке, спустился в небольшой овраг. Попробовав землю прикладом, он убедился, что земля рыхлая и что копать ее будет легко. Место показалось ему пригодным для исполнения его замысла.

- Фортунато! Стань у того большого камня.

Исполнив его приказание, Фортунато упал на колени.

- Молись!

- Отец! Отец! Не убивай меня!

- Молись! - повторил Маттео грозно.

Запинаясь и плача, мальчик прочитал "Отче наш" и "Верую". Отец в конце каждой молитвы твердо произносил "аминь".

- Больше ты не знаешь молитв?

- Отец! Я знаю еще "Богородицу" и литанию, которой научила меня тетя.

- Она очень длинная... Ну все равно, читай.

Литанию мальчик договорил совсем беззвучно.

- Ты кончил?

- Отец, пощади! Прости меня! Я никогда больше не буду! Я попрошу дядю капрала, чтобы Джаннетто помиловали!

Он лепетал еще что-то; Маттео вскинул ружье и, прицелившись, сказал:

- Да простит тебя бог!

Фортунато сделал отчаянное усилие, чтобы встать и припасть к ногам отца, но не успел. Маттео выстрелил, и мальчик упал мертвый.

Даже не взглянув на труп, Маттео пошел по тропинке к дому за лопатой, чтобы закопать сына. Не успел он пройти и нескольких шагов, как увидел Джузеппу: она бежала, встревоженная выстрелом.

- Что ты сделал? - воскликнула она.

- Совершил правосудие.

- Где он?

- В овраге. Я сейчас похороню его. Он умер христианином. Я закажу по нём панихиду. Надо сказать зятю, Теодору Бьянки, чтобы он переехал к нам жить.

ОНОРЕ ДЕ БАЛЬЗАК

(1799-1850)

Оноре де Бальзак – французский романист, один из родоначальников реалистического направлений в европейской прозе. Родился 20 мая 1799 г. в городе Туре, был одно время клерком у нотариуса, но продолжать эту службу не хотел, чувствуя призвание к литературе. В течение всей жизни Бальзак боролся со стесненным материальным положением, работал с упорством и настойчивостью, сочинял массу несбыточных проектов, чтобы разбогатеть, но никогда не выходил из долгов и был вынужден писать роман за романом, занимаясь по 12-18 часов в день. Результатом такой работы был 91 роман, которые составляют один общий цикл «Человеческая комедия», где более 2000 лиц описаны со свойственными им индивидуальными и бытовыми чертами.

В своих романах Оноре де Бальзак является метким и вдумчивым изобразителем человеческой природы и общественных отношений. Буржуазный класс, народные нравы и характеры описаны им с правдивостью и силой, почти неизвестными до него. По большей части каждое из выводимых им лиц обладает какой-нибудь одной преобладающей страстью, которая служит побудительной причиной его действий и очень часто также причиной его гибели.

Одной из наиболее деятельных и частых пружин, приводящих в действие бальзаковских героев, служат деньги. Автор, всю жизнь выдумывавший способы для более быстрого и верного обогащения, имел

возможность изучить мир дельцов, аферистов, предпринимателей с их грандиозными планами, дутыми, фантастическими надеждами, исчезающими, как мыльные пузыри, и увлекающими с собой и самих инициаторов, и тех, кто им поверил. Этот мир перенесен Бальзаком в его «Человеческую комедию» вместе со всеми особенностями, которые страсть к деньгам создает в людях с различным душевным складом и разными привычками, сформированными той или иной средой. Описание среды является главным для характеристики персонажей Бальзака: мельчайшие подробности обстановки изображаются автором с большой точностью, давая полное представление о жизни и нравственности героев.

Бальзак подробно изучал местность, среду, лиц, прежде чем приниматься за описание. Он изъездил почти всю Францию, изучая местности, в которых происходит действие его романов; он заводил самые разнообразные знакомства, старался беседовать с людьми разных профессий и разной общественной среды. Поэтому все его персонажи жизненны, хотя большинство из них сторает от одной преобладающей страсти, которой может быть тщеславие, зависть, скупость, страсть к наживе, или же перешедшая в манию отеческая любовь к дочерям.

Крупнейшее произведение Бальзака – серия романов и повестей «Человеческая комедия», рисующая картину жизни современного писателю французского общества. Замысел его создания зарождается у писателя в 1831 году. Над этим произведением он работает в течение всей своей последующей жизни.

«Человеческая комедия» состоит из трёх частей:

- «Этюды о нравах»,
- «Философские этюды»,
- «Аналитические этюды».

Наиболее обширна первая часть — «**Этюды о нравах**», в которую вошли:

«Сцены частной жизни»

- «Гобсек» (1830),
- «Тридцатилетняя женщина» (1829—1842),
- «Полковник Шабер» (1844),
- «Отец Горио» (1834-35) и другие.

«Сцены провинциальной жизни»

- «Турский священник» (1832),
- «Евгения Гранде» (1833),
- «Утраченные иллюзии» (1837-43) и другие.

«Сцены парижской жизни»

- трилогия «История тринадцати» (1834),
- «Цезарь Биротто» (1837),
- «Банкирский дом Нусингена» (1838),
- «Блеск и нищета куртизанок» (1838-1847),
- «Сарразин» (1830) и другие.

«Сцены политической жизни»

- «Случай из времён террора» (1842) и др.

«Сцены военной жизни»

- «Шуаны» (1829),
- «Страсть в пустыне» (1837)

«Сцены деревенской жизни»

- «Лилия долины» (1836) и др.

В дальнейшем цикл был пополнен романами «Модеста Миньон» (1844), «Кузина Бетта» (1846), «Кузен Понс» (1847), а также, по-своему подытоживающим цикл романом «Изнанка современной истории» (1848).

Второй цикл – **«Философские этюды»** – представляет собой размышления о закономерностях жизни (роман «Шагреновая кожа» (1831) и другие).

Циклу **«Аналитические этюды»** присуща наибольшая «философичность». В некоторых произведениях — например, в повести

«Луи Ламбер», объём философских размышлений многократно превышает объём сюжетного повествования.

О. де Бальзак

ГОБСЕК

(отрывки)

Портрет Гобсека

Не знаю, можете ли вы представить себе с моих слов лицо этого человека, которое я, с дозволения Академии, готов назвать лунным ликом, ибо его желтоватая бледность напоминала цвет серебра, с которого слезла позолота. Волосы у моего ростовщика были совершенно прямые, всегда аккуратно причёсанные и с сильной проседью — пепельно-серые. Черты лица, неподвижные, бесстрастные, как у Талейрана, казались отлитыми из бронзы. Глаза, маленькие и жёлтые, словно у хорька, и почти без ресниц, не выносили яркого света, поэтому он защищал их большим козырьком потрёпанного картуза. Острый кончик длинного носа, изрытый рябинами, походил на буравчик, а губы были тонкие, как у алхимиков и древних стариков на картинах Рембрандта и Метсу. Говорил этот человек тихо, мягко, никогда не горячился. Возраст его был загадкой: я никогда не мог понять, состарился ли он до времени или же хорошо сохранился и останется моложавым на веки вечные. Всё в его комнате было потёрто и опрятно, начиная от зелёного сукна на письменном столе до коврика перед кроватью, — совсем как в холодной обители одинокой старой девы, которая весь день наводит чистоту и натирает мебель воском. Зимой в камине у него чуть тлели головни, прикрытые горкой золы, никогда не разгораясь пламенем. От первой минуты пробуждения и до вечерних приступов кашля все его действия были размеренны, как движения маятника. Это был какой-то человек-автомат, которого заводили ежедневно. Если тронуть ползущую по бумаге мокрицу, она мгновенно остановится и замрёт; так же вот и этот

человек во время разговора вдруг умолкал, выжидая, пока не стихнет шум проезжающего под окнами экипажа, так как не желал напрягать голос. По примеру Фонтенеля, он берёт жизненную энергию, подавляя в себе все человеческие чувства. И жизнь его протекала также бесшумно, как сыплется струйкой песок в старинных песочных часах. Иногда его жертвы возмущались, поднимали неистовый крик, потом вдруг наступала мёртвая тишина, как в кухне, когда зарежут в ней утку. К вечеру человек-вексель становился обыкновенным человеком, а слиток металла в его груди — человеческим сердцем. Если он бывал доволен истёкшим днём, то потирал себе руки, а из глубоких морщин, бороздивших его лицо, как будто поднимался дымок весёлости, — право, невозможно изобразить иными словами его немую усмешку, игру лицевых мускулов, выражавшую, вероятно, те же ощущения, что и беззвучный смех Кожаного Чулка. Всегда, даже в минуты самой большой радости, говорил он односложно и сохранял сдержанность. Вот какого соседа послал мне случай, когда я жил на улице Де-Грэ, будучи в те времена всего лишь младшим писцом в конторе стряпчего и студентом-правоведом последнего курса. В этом мрачном, сыром доме нет двора, все окна выходят на улицу, а расположение комнат напоминает устройство монашеских келий: все они одинаковой величины, в каждой единственная её дверь выходит в длинный полутёмный коридор с маленькими оконцами. Да, это здание и в самом деле когда-то было монастырской гостиницей. В таком угрюмом обиталище сразу угасала бойкая игривость какого-нибудь светского повесы, ещё раньше, чем он входил к моему соседу; дом и его жилец были под стать друг другу — совсем как скала и прилепившаяся к ней устрица. Единственным человеком, с которым старик, как говорится, поддерживал отношения, был я. Он заглядывал ко мне попросить огонька, взять книгу или газету для прочтения, разрешал мне по вечерам заходить в его келью, и мы иной раз беседовали, если он бывал к этому расположен. Такие знаки доверия были плодом четырёхлетнего соседства и моего примерного поведения, которое, по

причине безденежья, во многом походило на образ жизни этого старика. Были ли у него родные, друзья? Беден он был или богат? Никто не мог бы ответить на эти вопросы. Я никогда не видел у него денег в руках. Состояние его, если оно у него было, вероятно, хранилось в подвалах банка. Он сам выискивал по векселям и бегал для этого по всему Парижу на тонких, сухопарых, как у оленя, ногах. Кстати сказать, однажды он пострадал за свою чрезмерную осторожность. Случайно у него было при себе золото, и вдруг двойной наполеондор каким-то образом выпал у него из жилетного кармана. Жилец, который спускался вслед за стариком по лестнице, поднял монету и протянул ему.

— Это не моя! — воскликнул он, замахав рукой. — Золото! У меня? Да разве я стал бы так жить, будь я богат!

По утрам он сам себе варил кофе на железной печурке, стоявшей в закопчённом углу камина; обед ему приносили из ресторации. Старуха привратница в установленный час приходила прибирать его комнату. А фамилия у него по воле случая, который Стерн назвал бы предопределением, была весьма странная — Гобсек[2]. Позднее, когда он поручил мне вести его дела, я узнал, что ко времени моего с ним знакомства ему уже было почти семьдесят шесть лет. Он родился в 1740 году в предместье Антверпена; мать у него была еврейка, отец — голландец, полное его имя было Жан Эстер ван Гобсек. Вы, конечно, помните, как занимало весь Париж убийство женщины, прозванной «Прекрасная Голландка». Как-то в разговоре с моим бывшим соседом я случайно упомянул об этом происшествии, и он сказал, не проявив при этом ни малейшего интереса или хотя бы удивления:

— Это моя внучатая племянница.

Только эти слова и вызвала у него смерть его единственной наследницы, внучки его сестры. На судебном разбирательстве я узнал, что Прекрасную Голландку звали Сарра ван Гобсек. Когда я попросил Гобсека объяснить то удивительное обстоятельство, что внучка его сестры носила его фамилию, он ответил, улыбаясь:

— В нашем роду женщины никогда не выходили замуж.

Этот странный человек ни разу не пожелал увидеть ни одной из представительниц четырёх женских поколений, составлявших его родню. Он ненавидел своих наследников и даже мысли не допускал, что кто-либо завладеет его состоянием хотя бы после его смерти. Мать пристроила его юнгой на корабль, и в десятилетнем возрасте он отплыл в голландские владения Ост-Индии, где и скитался двадцать лет. Морщины его желтоватого лба хранили тайну страшных испытаний, внезапных ужасных событий, неожиданных удач, романтических превратностей, безмерных радостей, голодных дней, попорченной любви, богатства, разорения и вновь нажитого богатства, смертельных опасностей, когда жизнь, висевшую на волоске, спасали мгновенные и, быть может, жестокие действия, оправданные необходимостью. Он знал господина де Лалли, адмирала Симеза, господина де Кергаруэта и д'Эстена, байи де Сюффрена, господина де Портандюэра, лорда Корнуэлса, лорда Гастингса, отца Типпо-Саиба и самого Типпо-Саиба. С ним вёл дела тот савояр, что служил в Дели радже Махаджи Синдиаху и был пособником могущества династии Махараттов. Были у него какие-то связи и с Виктором Юзом и другими знаменитыми корсарами, так как он долго жил на острове Сен-Тома. Он всё перепробовал, чтобы разбогатеть, даже пытался разыскать пресловутый клад — золото, зарытое племенем дикарей где-то в окрестностях Буэнос-Айреса. Он имел отношение ко всем перипетиям войны за независимость Соединённых Штатов. Но об Индии или об Америке он говорил только со мною, и то очень редко, и всякий раз после этого как будто раскаивался в своей «болтливости». Если человечность, общение меж людьми считать своего рода религией, то Гобсека можно было назвать атеистом. Хотя я поставил себе целью изучить его, должен, к стыду своему, признаться, что до последней минуты его душа оставалась для меня тайной за семью замками.

Жизненные принципы Гобсека

— А у кого жизнь может быть такой блистательной, как у меня? — сказал он, и взгляд его загорелся. — Вы молоды, кровь у вас играет, а в голове от этого туман. Вы глядите на горящие головни в камине и видите в огоньках женские лица, а я вижу только угли. Вы всему верите, а я ничему не верю. Ну что ж, сберегите свои иллюзии, если можете. Я вам сейчас подведу итог человеческой жизни. Будь вы бродягой-путешественником, будь вы домоседом и не расставайтесь весь век со своим камельком да со своей супругой, всё равно приходит возраст, когда вся жизнь — только привычка к излюбленной среде. И тогда счастье состоит в упражнении своих способностей применительно к житейской действительности. А кроме этих двух правил, все остальные — фальшь. У меня вот принципы менялись сообразно обстоятельствам, приходилось менять их в зависимости от географических широт. То, что в Европе вызывает восторг, в Азии карается. То, что в Париже считают пороком, за Азорскими островами признаётся необходимостью. Нет на земле ничего прочного, есть только условности, и в каждом климате они различны. Для того, кто волей-неволей применялся ко всем общественным меркам, всяческие ваши нравственные правила и убеждения — пустые слова. Незыблемо лишь одно-единственное чувство, вложенное в нас самой природой: инстинкт самосохранения. В государствах европейской цивилизации этот инстинкт именуется личным интересом. Вот поживёте с моё, узнаете, что из всех земных благ есть только одно, достаточно надёжное, чтобы стоило человеку гнаться за ним, Это... золото. В золоте сосредоточены все силы человечества. Я путешествовал, видел, что по всей земле есть равнины и горы. Равнины надоедают, горы утомляют; словом, в каком месте жить — это значения не имеет. А что касается нравов, — человек везде одинаков: везде идёт борьба между бедными и богатыми, везде. И она неизбежна. Так лучше уж самому давить, чем позволять, чтобы другие тебя давили. Повсюду мускулистые люди трудятся, а худосочные мучаются. Да и наслаждения повсюду одни и те же, и повсюду

они одинаково истощают силы; переживает все наслаждения только одна утеха — тщеславие. Тщеславие! Это всегда наше «я». А что может удовлетворить тщеславие? Золото! Потоки золота. Чтобы осуществить наши прихоти, нужно время, нужны материальные возможности или усилия. Ну что ж! В золоте всё содержится в зародыше, и всё оно даёт в действительности.

Одни только безумцы да больные люди могут находить своё счастье в том, чтобы убивать все вечера за картами в надежде выиграть несколько су. Только дураки могут тратить время на размышления о самых обыденных делах — возляжет ли такая-то дама на диван одна или в приятном обществе, и чего у ней больше: крови или лимфы, темперамента или добродетели? Только простофили могут воображать, что они приносят пользу ближнему, занимаясь установлением принципов политики, чтобы управлять событиями, которых никогда нельзя предвидеть. Только олухам может быть приятно болтать об актёрах и повторять их остроты, каждый день кружиться на прогулках, как звери в клетках, разве лишь на пространстве чуть побольше; рядиться ради других, задавать пиры ради других, похваляться чистокровной лошастью или новомодной коляской, которую посчастливилось купить на целых три дня раньше, чем соседу. Вот вам вся жизнь ваших парижан, вся она укладывается в эти несколько фраз. Верно? Но взгляните на существование человека с той высоты, на какую им не подняться. В чём счастье? Это или сильные волнения, подтачивающие нашу жизнь, или размеренные занятия, которые превращают её в некое подобие хорошо отрегулированного английского механизма. Выше этого счастья стоит так называемая «благородная» любознательность, стремление проникнуть в тайны природы и добиться известных результатов, воспроизводя её явления. Вот вам в двух словах искусство и наука, страсть и спокойствие. Верно? Так вот, все человеческие страсти, распалённые столкновением интересов в нынешнем вашем обществе, проходят передо мною, и я произвожу им смотр, а сам живу в спокойствии. Научную вашу любознательность, своего рода

поединок, в котором человек всегда бывает повержен, я заменяю проникновением во все побудительные причины, которые движут человечеством. Словом, я владею миром, не утомляя себя, а мир не имеет надо мною ни малейшей власти.

Клиенты Гобсека

— Нынче утром, — сказал он, — мне надо было предъявить должникам два векселя, — остальные я ещё вчера пустил в ход при расчётах по своим операциям. И то барыш! Ведь при учёте я сбрасываю с платёжной суммы расходы по взиманию долга и ставлю по сорок су на извозчика, хотя и не думал его нанимать. Разве не забавно, что из-за каких-нибудь шести франков учётного процента я бегу через весь Париж? Это я-то! Человек, который никому не подвластен и платит налога всего семь франков. Первый вексель, на тысячу франков, учёл у меня молодой человек, писанный красавец и щёголь: у него жилетка с искрой, у него и лорнет, и тильбюри, и английская лошадь, и тому подобное. А выдан был вексель женщиной, одной из самых прелестных парижанок, женой какого-то богатого помещика и вдобавок — графа. Почему же её сиятельство графиня подписала вексель, юридически недействительный, но практически вполне надёжный? Ведь эти жалкие женщины, светские дамы, до того боятся семейных скандалов в случае протеста векселя, что готовы бывают расплатиться собственной своей особой, коли не могут заплатить деньгами. Мне захотелось узнать тайную цену этого векселя. Что тут скрывается: глупость, опрометчивость, любовь или сострадание? Второй вексель на такую же сумму, подписанный некоей Фанни Мальво, учёл у меня купец, торгующий полотном, верный кандидат в банкроты. Ведь ни один человек, если у него ещё есть хоть самый малый кредит в банке, не придёт в мою лавочку: первый же его шаг от порога моей комнаты к моему письменному столу изобличает отчаяние, тщетные поиски ссуды у всех банкиров и надвигающийся крах. Я вижу у себя только затравленных оленей, за которыми гонится целая свора займодавцев.

Графиня живёт на Гельдерской улице, а Фанни Мальво — на улице Монмартр. Сколько догадок я строил, когда выходил нынче утром из дому! Если у этих двух женщин нечем заплатить, они, конечно, примут меня ласковей, чем отца родного. Уж как графиня начнёт фокусничать, какую будет комедию ломать из-за тысячи франков! Приветливо заулыбается, заговорит вкрадчивым, нежным голоском, каким любезничает с тем молодчиком, на чьё имя выдан вексель, пожалуй будет даже умолять меня! А я... — Старик бросил на меня холодный взгляд. — А я непоколебим! — сказал он. — Я появляюсь как возмездие, как укор совести... Ну, оставим мои догадки. Прихожу.

«Графиня ещё не вставала», — заявляет мне горничная.

«Когда её можно видеть?»

«Не раньше двенадцати».

«Что же, графиня больна?»

«Нет, сударь, она вернулась с бала в три часа утра».

«Моя фамилия Гобсек. Доложите, что приходил Гобсек. Я ещё раз зайду в полдень».

И я спустился по лестнице к выходу, наследив грязными подошвами на ковре, устилавшем мраморные ступени. Я люблю пачкать грязными башмаками ковры у богатых людей, — не из мелкого самолюбия, а чтобы дать почувствовать когтистую лапу Неотвратимости. Прихожу на улицу Монмартр, в неказистый дом, отворяю ветхую калитку в воротах, вижу двор — настоящий колодец, куда никогда не заглядывает солнце. В камерке привратницы темно, стекло в огне грязное, как измызганный, засаленный рукав тёплого халата, да ещё всё в трещинах.

«Здесь живёт мадемуазель Фанни Мальво?»

«Живёт, только её сейчас нет дома. Но если вы насчёт векселя, то она оставила для вас деньги»

«Я зайду попозже», — сказал я.

Деньги оставлены у привратницы — прекрасно, но мне любопытно посмотреть на самое должницу. Мне почему-то казалось, что это хорошенькая вертихвостка. Ну вот. Утро я провёл на бульваре, рассматривал гравюры в окнах магазинов. Но ровно в полдень я уже проходил по гостиной, смежной со спальней графини.

«Барыня только что позвонила, — заявила мне горничная. — Не думаю, чтобы она сейчас приняла вас».

«Я подожду», — ответил я и уселся в кресло.

Открываются жалюзи, прибегает горничная.

«Пожалуйста, сударь».

По сладкому голосу горничной я понял, что хозяйке заплатить нечем. Зато какую же я красавицу тут увидел! В спешке она только накинула на обнажённые плечи кашемировую шаль и куталась в неё так искусно, что под этим покровом вырисовывалась вся её статная фигура. На ней был лишь пеньюар, отделанный белоснежным рюшем, — значит, не меньше двух тысяч франков в год уходило на прачку, мастерицу по стирке тонкого белья. Голова её была небрежно повязана, как у креолки, пёстрым шёлковым платком, а из-под него выбивались крупные чёрные локоны. Раскрытая постель была смята, и беспорядок её говорил о тревожном сне. Художник дорого бы дал, чтобы побыть хоть несколько минут в спальне моей должницы в это утро. Складки занавесей у кровати дышали сладострастной негой, сбитая простыня на голубом шёлковом пуховике, смятая подушка, резко белевшая на этом лазурном фоне кружевными своими оборками, казалось, ещё сохраняли неясный отпечаток дивных форм, дразнивший воображение. На медвежьей шкуре, разостланной у бронзовых львов, поддерживающих кровать красного дерева, блестел атлас белых туфель, небрежно сброшенных усталой женщиной по возвращении с бала. Со спинки стула свешивалось измятое платье, рукавами касаясь ковра. Вокруг ножки кресла обвились прозрачные чулки, которые унесло бы дуновение ветерка. По диванчику протянулись белые шёлковые подвязки. На камине переливались блёстки полураскрытого

дорогого веера. Ящики комода остались незадвинутыми. По всей комнате раскиданы были цветы, бриллианты, перчатки, букет, пояс и прочие принадлежности бального наряда. Пахло какими-то тонкими духами. Во всём была красота, лишённая гармонии, роскошь и беспорядок. И уже нищета, грозившая этой женщине или её возлюбленному, притаившаяся за всей этой роскошью, поднимала голову и казала им свои острые зубы. Утомлённое лицо графини было под стать всей её опочивальне, усеянной приметамы минувшего праздника.

Разбросанные повсюду безделушки вызвали во мне чувство жалости: ещё вчера все они были её убором и кто-то восторгался ими. И все они сливались в образ любви, отравленной угрызениями совести, в образ рассеянной жизни, роскоши, шумной суеты и выдавали танталовы усилия поймать ускользающие наслаждения. Красные пятна, проступившие на щеках этой молодой женщины, свидетельствовали лишь о нежности её кожи, но лицо её как будто припухло, тёмные тени под глазами, казалось, обозначились резче обычного. И всё же природная энергия была в ней ключом, а все эти признаки безрассудной жизни не портили её красоты. Глаза её сверкали, она была великолепна: она напоминала одну из прекрасных Иродиад кисти Леонардо да Винчи (я ведь когда-то перепродавал картины старых мастеров), от неё веяло жизнью и силой. Ничего не было хилого, жалкого ни в линиях её стана, ни в её чертах; она, несомненно, должна была внушать любовь, но сама, казалось мне, была сильнее любви. Словом, эта женщина понравилась мне. Давно моё сердце так не билось. А значит, я уже получил плату. Я сам отдал бы тысячу франков за то, чтобы вновь изведать ощущения, напоминающие мне дни молодости.

«Сударь, — сказала она, предложив мне сесть, — не будете ли вы так любезны немного отсрочить платёж?»

«До полудня следующего дня, графиня, — сказал я, складывая вексель, который предъявил ей. — До этого срока я не имею права опротестовать ваш вексель».

А мысленно я говорил ей: «Плати за всю эту роскошь, плати за свой титул, плати за своё счастье, за все исключительные преимущества, которыми ты пользуешься. Для охраны своего добра богачи изобрели трибуналы, судей, гильотину, к которой, как мотыльки на гибельный огонь, сами устремляются, глупцы. Но для вас, для людей, которые спят на шелку и шёлком укрываются, существует кое-что иное: укоры совести, скрежет зубовой, скрываемый улыбкой, химеры с львиной пастью, вонзающие свои клыки вам в сердце».

«Опротестовать вексель? Неужели вы решитесь? — воскликнула она, вперив в меня взгляд. — Неужели вы так мало уважаете меня?»

«Если бы сам король был мне должен, графиня, и не уплатил бы в срок, я бы подал на него в суд ещё скорее, чем на всякого другого должника».

В эту минуту кто-то тихо постучал в дверь.

«Меня нет дома!» — властно крикнула графиня.

«Анастаси, это я. Мне нужно поговорить с вами».

«Попозже, дорогой», — ответила она уже менее резким тоном, но всё же отнюдь не ласково.

«Что за шутки! Ведь вы с кем-то разговариваете», — отозвался голос, и в комнату вошёл мужчина — несомненно, сам граф.

Графиня на меня взглянула, я понял её, — она стала моей рабой. Было время, юноша, когда я по глупости иной раз не опротестовывал векселей. В 1763 году в Пондишери я пощадил одну женщину, и что же! Здорово она меня общипала! Поделом мне, — зачем я ей доверился?

«Что вам угодно, сударь?» — спросил меня граф.

И тут я вдруг заметил, что его жена вся дрожит мелкой дрожью, и белая атласная шея пошла у неё пупырышками, — как говорится, покрылась гусиной кожей. А я смеялся в душе, но ни один мускул на лице у меня не шевельнулся.

«Это один из моих поставщиков», — сказала графиня.

Граф повернулся ко мне спиной, а я вытащил из кармана угол сложенного векселя. Увидев этот беспощадный жест, молодая женщина подошла ко мне и подала мне бриллиант.

«Возьмите, — сказала она. — И скорее уходите».

В обмен на бриллиант я отдал вексель и, поклонившись, вышел. На мой взгляд, бриллиант стоил верных тысячу двести франков. На графском дворе я увидел толпу всякой челяди — лакеи чистили щётками свои ливрейные фраки, наводили глянец на сапоги, конюхи мыли роскошные экипажи. Вот что гонит ко мне знатных господ. Вот что заставляет их пристойным образом красть миллионы, продавать свою родину! Чтобы не запачкать лакированных сапожек, расхаживая пешком, важный барин и всякий, кто силится подражать ему, готовы с головой окунуться в грязь. Как раз тут ворота распахнулись, и въехал в кабриолете тот самый молодой щёголь, который учёл у меня вексель графини.

«Сударь, — сказал я, когда он выскочил из кабриолета, — вот двести франков, передайте их, пожалуйста, графине и скажите ей, что заклад, который она мне дала, я немного придержу и недельку он будет в её распоряжении».

Щёголь взял двести франков, и по губам его скользнула насмешливая улыбка, говорившая: «Ага, заплатила! Ну, что ж, отлично!»

И я прочёл на его лице всю будущность графини. Этот белокурый красавчик, холодный, бездушный игрок, разорится сам, разорит её, разорит её мужа, разорит детей, промотав их наследство, да и в других салонах учинит разгром почище, чем артиллерийская батарея в неприятельских войсках.

Затем я отправился на улицу Монмартр к мадемуазель Фанни. Я поднялся по узкой крутой лестнице на шестой этаж. Меня впустили в квартирку из двух комнат, где всё сверкало чистотой, блестело, как новенький дукат; ни пылинки не было на мебели в первой комнате, где меня приняла хозяйка, мадемуазель Фанни, молоденькая девушка, одетая просто, но с изяществом

парижанки; у неё была грациозная головка, свежее личико и приветливый вид; каштановые, красиво зачёсанные волосы, спускаясь двумя гладкими полукружиями, прикрывали виски, и это сообщало какое-то тонкое выражение её голубым глазам, чистым, как кристалл. Солнце, пробиваясь сквозь занавесочки на окнах, озаряло мягким светом весь её скромный облик. Вокруг неё стопками лежали раскроенные куски полотна, и я понял, чем она зарабатывала на жизнь: она, конечно, была белошвейкой. Эта девушка казалась феей одиночества.

Я протянул ей вексель и сказал, что приходил утром, но не застал её.

«А ведь деньги были у привратницы», — сказала она.

Я притворился, что не расслышал.

«Вы, как видно, рано выходите из дому».

«Вообще я очень редко куда выхожу, но, знаете, когда всю ночь просидишь за работой, хочется пойти искупаться».

Я посмотрел повнимательней и с первого взгляда разгадал её. Передо мной, несомненно, была девушка, которую нужда заставляла трудиться не разгибая спины, — вероятно, дочь какого-нибудь честного фермера: на лице у неё ещё виднелись мелкие веснушки, свойственные крестьянским девушкам. От неё веяло чем-то хорошим, по-настоящему добродетельным. Я как будто вступил в атмосферу искренности, чистоты душевной, и мне даже как-то стало легче дышать. Бедная простушка! Она во что-то верила: над изголовьем её немудрёной деревянной кровати висело распятие, украшенное двумя веточками букса. Я почти умилился. Я готов был предложить ей денег займы всего лишь из двенадцати процентов, чтобы помочь ей купить какое-нибудь прибыльное дело. «Ну нет! — образумил я себя. — У неё, пожалуй, есть молодой двоюродный братец, который заставит её подписывать векселя и обчистит бедняжку». С тем я и ушёл, предостерегая себя от великодушных порывов: ведь мне частенько приходилось наблюдать, что если самому благодетелю и не вредит благодеяние, то для того, кому оно оказано, подобная милость бывает губительной. Когда вы вошли сегодня в мою

комнату, я как раз думал о Фанни Мальво, — вот из кого вышла бы хорошая жена, мать семейства. Сравнить только чистую одинокую жизнь девушки с жизнью богатой графини, которая уже принялась подписывать векселя, а скоро скатится на самое дно всяческих пороков!

Гобсек дает характеристику французскому обществу

— А ну-ка, скажите, — вдруг промолвил он, — разве плохие у меня развлечения? Разве не любопытно заглянуть в самые сокровенные изгибы человеческого сердца? Разве не любопытно проникнуть в чужую жизнь и увидеть её без прикрас, во всей неприкрытой наготе? Каких только картин не насмотришься! Тут и мерзкие язвы, и неутешное горе, тут любовные страсти, нищета, которую подстерегают воды Сены, наслаждение юноши — роковые ступени, ведущие к эшафоту, смех отчаяния и пышные празднества. Сегодня видишь трагедию: какой-нибудь честный труженик, отец семейства, покончил с собою, оттого что не мог прокормить своих детей. Завтра смотришь комедию: молодой бездельник пытается разыграть перед тобою современный вариант классической сцены обольщения Диманша его должником! Вы, конечно, читали о хвалёном красноречии новоявленных добрых пастырей прошлого века? Я иной раз тратил время, ходил их послушать. Им удавалось кое в чём повлиять на мои взгляды, но повлиять на моё поведение — никогда! — как выразился кто-то. Так знайте же, все эти ваши прославленные проповедники, всякие там Мирабо, Верньо и прочие — просто-напросто жалкие заики по сравнению с моими повседневными ораторами. Какая-нибудь влюблённая молодая девица, старик купец, стоящий на пороге разорения, мать, пытающаяся скрыть проступок сына, художник без куска хлеба, вельможа, который впал в немилость и, того и гляди, из-за безденежья потеряет плоды своих долгих усилий, — все эти люди иной раз изумляют меня силой своего слова. Великолепные актёры! И дают они представление для меня одного! Но обмануть меня им никогда не удаётся. У меня взор, как у господина бога: я читаю в сердцах. От меня ничто

не укроется. А разве могут отказать в чём-либо тому, у кого в руках мешок с золотом? Я достаточно богат, чтобы покупать совесть человеческую, управлять всесильными министрами через их фаворитов, начиная с канцелярских служителей и кончая любовницами. Это ли не власть? Я могу, если пожелаю, обладать красивейшими женщинами и покупать нежнейшие ласки. Это ли не наслаждение? А разве власть и наслаждение не представляют собою сущности вашего нового общественного строя? Таких, как я, в Париже человек десять; мы властители ваших судеб — тихонькие, никому не ведомые. Что такое жизнь, как не машина, которую приводят в движение деньги? Помните, что средства к действию сливаются с его результатами: никогда не удастся разграничить душу и плотские чувства, дух и материю. Золото — вот духовная сущность всего нынешнего общества. Я и мои братья, связанные со мною общими интересами, в определённые дни недели встречаемся в кафе «Фемида» возле Нового моста. Там мы беседуем, открываем друг другу финансовые тайны. Ни одно самое большое состояние не введёт нас в обман, мы владеем секретами всех видных семейств. У нас есть своего рода «чёрная книга», куда мы заносим сведения о государственном кредите, о банках, о торговле. В качестве духовников биржи мы образуем, так сказать, трибунал священной инквизиции, анализируем самые на вид безобидные поступки состоятельных людей и всегда угадываем верно. Один из нас надзирает за судейской средой, другой — за финансовой, третий — за высшим чиновничеством, четвёртый — за коммерсантами. А под моим надзором находится золотая молодёжь, актёры и художники, светские люди, игроки — самая занятая часть парижского общества. И каждый нам рассказывает о тайнах своих соседей. Обманутые страсти, уязвлённое тщеславие — болтливы. Пороки, разочарование, месть — лучшие агенты полиции. Как и я, мои братья всем насладились, всем пресытились и любят теперь только власть и деньги ради самого обладания властью и деньгами. Вот здесь, — сказал он, поведя рукой, — в этой холодной комнате с голыми стенами, самый пылкий

любовник, который во всяком другом месте вскипит из-за малейшего намёка, вызовет на дуэль из-за острого словечка, молит меня, как бога, смиренно прижимая руки к груди! Пропливая слёзы бешеной ненависти или скорби, молит меня и самый спесивый купец, и самая надменная красавица, и самый гордый военный. Сюда приходит с мольбою и знаменитый художник, и писатель, чьё имя будет жить в памяти потомков. А вот здесь, — добавил он, прижимая палец ко лбу, — здесь у меня весы, на которых взвешиваются наследства и корыстные интересы всего Парижа. Ну как вам кажется теперь, — сказал он, повернувшись ко мне бледным своим лицом, будто вылитым из серебра, — не таятся ли жгучие наслаждения за этой холодной, застывшей маской, так часто удивлявшей вас своей неподвижностью?

Страсть Гобсека

Гобсек молча схватил лупу и принялся рассматривать содержимое ларчика. Проживи я на свете ещё сто лет, мне не забыть этой картины. Бледное лицо его раздумянилось, глаза загорелись каким-то сверхъестественным огнём, словно в них отражалось сверкание бриллиантов. Он встал, подошёл к окну и, разглядывая драгоценности, подносил их так близко к своему беззубому рту, словно хотел проглотить их. Он бормотал какие-то бессвязные слова, доставал из ларчика то браслеты, то серьги с подвесками, то ожерелья, то диадемы, поворачивал их, определяя чистоту воды, оттенок и грань алмазов, искал, нет ли изъяна. Он вытаскивал их из ларчика, укладывал обратно, опять вынимал, опять поворачивал, чтобы они заиграли всеми таившимися в них огнями. В эту минуту он был скорее ребёнком, чем стариком, или, вернее, он был и ребёнком и стариком.

— Хороши! Ах, хороши! Такие бриллианты до революции стоили бы триста тысяч! Чистой воды! Несомненно, из Индии — из Голконды или из Висапура. Да разве вы знаете им цену! Нет, нет, во всём Париже только Гобсек сумеет их оценить. При Империи запросили бы больше двухсот тысяч, чтобы сделать на заказ такие уборы. — И с досадливым жестом он добавил: — А нынче бриллианты падают в цене, с каждым днём падают! После заключения мира Бразилия наводнила рынок алмазами, хоть они и желтоватой воды, не такие, как индийские. Да и дамы носят теперь бриллианты только на придворных балах. Вы, сударыня, бываете при дворе?

И, сердито бросая эти слова, он с невыразимым наслаждением рассматривал бриллианты один за другим.

— Хорош! Без единого пятнышка! — бормотал он. — А вот на этом точка! А тут трещинка! А этот — красавец! Красавец!

Всё его бледное лицо было освещено переливающимися отблесками алмазов, и мне пришли на память в эту минуту зеленоватые старые зеркала в провинциальных гостиницах, тусклое стекло которых совсем не отражает световых бликов, а смельчаку, дерзнувшему поглядеться в них, преподносит образ человека, умирающего от апоплексического удара.

К чему привела страсть Гобсека

Старика я застал в постели: он уже давно был болен и доживал последние дни. Мне он сказал, что даст ответ, когда встанет на ноги и будет в состоянии заниматься делами, — несомненно, он не желал расставаться с малейшей частицей своих богатств, пока ещё в нём тлеет хоть искра жизни. Другой причины отсрочки не могло быть. Я видел, что он болен гораздо серьезнее, чем это казалось ему самому, и довольно долго пробыл у него, — мне хотелось посмотреть, до каких пределов дошла его жадность, превратившаяся на пороге смерти в какое-то сумасшествие. Не желая видеть по соседству посторонних людей, он теперь снимал весь дом, жил в нём один, а все комнаты пустовали. В его спальне всё было по-старому. Её обстановка, хорошо мне знакомая, нисколько не изменилась за шестнадцать лет, — каждая вещь как будто сохранялась под стеклом. Всё та же привратница, преданная ему старуха, по-прежнему состояла его доверенным лицом, вела его хозяйство, докладывала о посетителях, а теперь, в дни болезни, ухаживала за ним, оставляя своего мужа-инвалида стеречь входную дверь, когда поднималась к хозяину. Гобсек был очень слаб, но всё же принимал ещё некоторых клиентов, сам получал доходы, но так упростил свои дела, что для управления ими вне стен комнаты ему достаточно было изредка посылать с поручениями инвалида. При заключении договора, по которому Франция признала Республику Гаити, Гобсека назначили членом комиссии по оценке и ликвидации владений французских подданных в этой бывшей колонии и для распределения между ними сумм возмещения убытков, ибо он обладал большими сведениями по части старых поместий в

Сан-Доминго, их собственников и плантаторов. Изобретательность Гобсека тотчас подсказала ему мысль основать посредническое агентство по реализации претензий бывших землевладельцев и их наследников, и он получал доходы от этого предприятия наравне с официальными его учредителями, Вербрустом и Жигонне, не вкладывая никаких капиталов, так как его познания являлись сами по себе достаточным вкладом. Агентство действовало не хуже перегонного куба, вытягивая прибыли из имущественных претензий людей несведущих, недоверчивых или знавших, что их права являются спорными. В качестве ликвидатора Гобсек вёл переговоры с крупными плантаторами, и каждый из них, стремясь повысить оценку своих земель или поскорее утвердиться в правах, делал ему подарки сообразно своему состоянию. Взятки эти представляли нечто вроде учётного процента, возмещавшего Гобсеку доходы с тех долговых обязательств, которые ему не удалось захватить; затем через агентство он скупал по дешёвке обязательства на мелкие суммы, а также те обязательства, владельцы которых спешили реализовать их, предпочитая получить немедленно хотя бы незначительное возмещение, чем ждать постепенных и ненадёжных платежей Республики. В этой крупной афере Гобсек был ненасытным удавом. Каждое утро он получал дары и алчно разглядывал их, словно министр какого-нибудь набоба, обдумывающий, стоит ли за такую цену подписывать помилование. Гобсек принимал всё, начиная от корзинки с рыбой, преподнесённой каким-нибудь бедняком, и кончая пачками свечей — подарком людей скуповатых, брал столовое серебро от богатых людей и золотые табакерки от спекулянтов. Никто не знал, куда он девал эти подношения. Всё доставляли ему на дом, но ничего оттуда не выносили.

— Ей-богу, по совести скажу, — уверяла меня привратница, моя старая знакомая, — сдаётся мне, он всё это глотает, да только не на пользу себе исхудал, высох, почернел, будто кукушка на моих стенных часах.

Но вот в прошлый понедельник Гобсек прислал за мной инвалида, и тот, войдя ко мне в кабинет, сказал:

— Едемте скорее, господин Дервиль. Хозяин последний счёт подводит, пожелтел, как лимон, торопится поговорить с вами. Смерть уж за глотку его схватила, в горле хрип клокочет.

Войдя в комнату умирающего, я, к удивлению своему, увидел, что он стоит на коленях у камина, хотя там не было огня, а только большая куча золы. Он слез с кровати и дополз до камина, но ползти обратно уже не было у него сил и не было голоса позвать на помощь.

— Старый друг мой, — сказал я, поднимая его и помогая ему добраться до постели. — Вам холодно? Почему вы не велите затопить камин?

— Мне вовсе не холодно, — сказал он. — Не надо топить, не надо! Я ухожу, голубчик, — промолвил он, помолчав, и бросил на меня угасший, тусклый взгляд. — Куда ухожу — не знаю, но ухожу отсюда. У меня уж карфология[4] началась, — добавил он, употребив медицинский термин, что указывало на полную ясность сознания. — Мне вдруг почудилось, будто по всей комнате золото катится, и я встал, чтобы подобрать его. Куда ж теперь всё моё добро пойдёт? Казне я его не оставлю; я завещание написал. Найди его, Гроций. У Прекрасной Голландки осталась дочь. Я как-то раз встретил её вечером на улице Вивьен. Хорошенькая, как купидон. У неё прозвище — Огонёк. Разыщи её, Гроций. Я тебя душеприказчиком назначил. Бери тут всё, что хочешь, кушай, еды у меня много. Паштеты из гусяной печёнки есть, мешки кофе, сахару. Ложки есть золотые. Возьми для своей жены сервиз работы Одио. А кому же бриллианты? Ты нюхаешь табак, голубчик? У меня много табака, разных сортов. Продай его в Гамбург, там в полтора раза дороже дадут. Да, всё у меня есть, и со всем надо расстаться. Ну, ну, папаша Гобсек, не трусь, будь верен себе...

Он приподнялся на постели; его лицо чётко, как бронзовое, вырисовывалось на белой подушке. Протянув иссохшие руки, он вцепился костлявыми пальцами в одеяло, будто хотел за него удержаться, взглянул на камин, такой же холодный, как его металлический взгляд, и умер в полном сознании, явив своей привратнице, инвалиду и мне образ настороженного

внимания, подобно тем старцам Древнего Рима, которых Летьер изобразил позади консулов на своей картине «Смерть детей Брута».

— Молодцом рассчитался, старый сквалыга! — по-солдатски отчеканил инвалид.

А у меня всё ещё звучало в ушах фантастическое перечисление богатств, которое я слышал от умершего, и я невольно посмотрел на кучу золы в камине, увидев, что к ней устремлены его застывшие глаза. Величина этой кучи поразила меня. Я взял каминные щипцы и, сунув их в золу, наткнулся на что-то твёрдое, — там лежала груда золота и серебра, вероятно, его доходы за время болезни. У него уже не было сил припрятать их получше, а недоверчивость не позволяла отослать всё это в банк.

— Бегите к мировому судье! — сказал я инвалиду. — Надо тут немедленно всё опечатать.

Вспомнив поразившие меня последние слова Гобсека и то, что мне говорила привратница, я взял ключи от комнат обеих этажей и решил осмотреть их. В первой же комнате, которую я отпер, я нашёл объяснение его речам, казавшимся мне бессмысленными, и увидел, до чего может дойти скупость, превратившаяся в безотчётную, лишённую всякой логики страсть, примеры которой мы так часто видим в провинции. В комнате, смежной со спальней покойного, действительно оказались и гниющие паштеты, и груды всевозможных припасов, даже устрицы и рыба, покрывшаяся пухлой плесенью. Я чуть не задохся от смрада, в котором слились всякие зловонные запахи. Всё кишело червями и насекомыми. Подношения, полученные недавно, лежали вперемешку с ящиками различных размеров, с цибуками чаю и мешками кофе. На камине в серебряной суповой миске хранились накладные различных грузов, прибывших на его имя в портовые склады Гавра: тюков хлопка, ящиков сахара, бочонков рома, кофе, индиго, табака — целого базара колониальных товаров! Комнату загромождала дорогая мебель, серебряная утварь, лампы, картины, вазы, книги, превосходные гравюры без рам, свёрнутые трубкой, и самые разнообразные редкости.

Возможно, что не вся эта груда ценных вещей состояла из подарков — многие из них, вероятно, были невыкупленными закладами. Я видел там ларчики с драгоценностями, украшенные гербами и вензелями, прекрасные камчатные скатерти и салфетки, дорогое оружие, но без клейма. Раскрыв какую-то книгу, казалось, недавно вынимавшуюся из стопки, я обнаружил в ней несколько банковских билетов по тысяче франков. Тогда я решил внимательно осмотреть каждую вещь, вплоть до самых маленьких, всё перевернуть, исследовать половицы, потолки, стены, карнизы, чтобы разыскать золото, к которому питал такую алчную страсть этот голландец, достойный кисти Рембрандта. Никогда ещё в своей юридической практике я не встречал такого удивительного сочетания скупости со своеобразием характера. Вернувшись в спальню умершего, я нашёл на его письменном столе разгадку постепенного скопления всех этих богатств. Под пресс-папье лежала переписка Гобсека с торговцами, которым он обычно продавал подарки своих клиентов. Но оттого ли, что купцы не раз оказывались жертвами уловок Гобсека, или оттого, что он слишком дорого запрашивал за съестные припасы и вещи, ни одна сделка не состоялась. Он не желал продавать накопившуюся у него снедь в магазин Шеве, потому что Шеве требовал тридцатипроцентной скидки. Он торговался из-за нескольких франков, а в это время товар портился. Серебро не было продано, потому что Гобсек отказывался брать на себя расходы по доставке. Мешки кофе залежались, так как он не желал скинуть на утруску. Словом, каждый предмет сделки служил ему поводом для бесконечных споров, — несомненный признак, что он уже впал в детство и проявлял то дикое упрямство, что развивается у всех стариков, одержимых какой-либо страстью, пережившей у них разум. И я задал себе тот же вопрос, который слышал от него: кому же достанется всё это богатство?..

АНГЛИЙСКАЯ ЛИТЕРАТУРА XIX ВЕКА

ЧАРЛЬЗ ДИККЕНС

(1812-1870)

Чарльз Диккенс (полное имя Чарльз Джон Хаффам Диккенс) – знаменитый английский писатель-реалист, классик мировой литературы, крупнейший прозаик XIX века – прожил насыщенную и непростую жизнь. Родиной его был расположенный недалеко от Портсмута городок Лендпорт, где он 7 февраля 1812 года появился на свет в небогатой семье мелкого чиновника. Чарльз был очень одарённым ребёнком, однако материальное положение семьи не позволяло развивать его способности, дать ему качественное образование.

В 1822 году семья Диккенса переехала в Лондон, где им довелось жить в крайней нужде, периодически продавая нехитрый домашний скарб. 12-летнему Чарльзу пришлось идти подрабатывать на фабрику ваксы, и хотя его трудовой стаж на ней исчислялся всего четырьмя месяцами, это время, когда он, себялюбивый, не привыкший к физическому труду и не блещущий крепким здоровьем, вынужден был тяжело работать за сущие гроши, было для него серьезным нравственным потрясением, наложило огромный отпечаток на его мировоззрение, определило одну из жизненных целей – больше никогда не нуждаться и не оказываться в столь унижительном положении.

Бедственное положение семьи, в которой росло шестеро детей, еще больше усугубилось, когда в 1824 году на несколько месяцев отец оказался под арестом из-за долгов. Чарльз ушел из школы и устроился в адвокатскую контору переписчиком бумаг. Следующим пунктом его трудового пути был парламент, где он работал стенографом, а потом ему удалось найти себя на поприще газетного репортера. В ноябре 1828 года юный Диккенс занял место

независимого репортера, работавшего в суде Докторс-Коммонз. Не получивший систематического образования в детстве и отрочестве, 18-летний Чарльз усердно занимался самообразованием, превратившись в завсегдатя британского музея. В 20 лет он работал репортером в «Парламентском зеркале» и «Тру сан» и выгодно отличался на фоне большинства собратьев по перу.

В 24 года Диккенс выпустил дебютный сборник очерков под названием «Записки Боза» (это был его газетный псевдоним): амбициозный молодой человек понял, что именно занятия литературой помогут ему войти в высшее общество, а заодно совершать благое дело ради таких же обиженных судьбой и угнетенных, каким он был сам.

В 1837 году Диккенс дебютировал как романист, выпустив «Посмертные записки Пиквикского клуба». Его литературная слава росла по мере написания очередных произведений, также укреплялось материальное положение и повышался социальный статус. Когда женившийся еще в 1836 году Диккенс вместе с женой отплыл в Бостон, его встречали в американских городах как очень известного человека.

С июля 1844 года по 1845 года Чарльз с семьей жил в Генуе, а по возвращении на родину все свое внимание уделял основанию газеты «Дейли Ньюс». 1850-е годы стали личным триумфом Диккенса: он добился славы, влияния, богатства, с лихвой компенсировав все предыдущие удары судьбы. С 1858 года писатель постоянно устраивал публичные чтения своих книг: так он реализовывал оставшиеся не востребованными незаурядные актерские способности. В этот же период – 1850-1860-е годы – один за другим появились романы, укрепившие его популярность: «Крошка Доррит» (1855-1857), «Повесть о двух городах» (1859), «Большие надежды» (1861), «Наш общий друг» (1864).

Непростая жизнь не лучшим образом отразилась на состоянии здоровья писателя, но Диккенс работал, не обращая внимания на многочисленные недомогания. Продолжительное путешествие по американским городам

усугубило проблемы, но он, немного передохнув, отправился в новое. В апреле 1869 года состояние писателя значительно ухудшилось, а 8 июня 1870 года вечером у Чарльза Диккенса, находившегося в своем поместье Гэйдсхилл, случился инсульт. На следующий день он скончался; похоронили одного из популярнейших английских писателей в Вестминстерском аббатстве.

Чарльз Диккенс

РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ПЕСНЯ В ПРОЗЕ

Строфа первая

Начать с того, что Марли был мертв. Сомневаться в этом не приходилось. Свидетельство о его погребении было подписано священником, причетником, хозяином похоронного бюро и старшим могильщиком. Оно было подписано Скруджем. А уже если Скрудж прикладывал к какому-либо документу руку, эта бумага имела на бирже вес.

Итак, старик Марли был мертв, как гвоздь в притолоке. Учтите: я вовсе не утверждаю, будто на собственном опыте убедился, что гвоздь, вбитый в притолоку, как-то особенно мертв, более мертв, чем все другие гвозди. Нет, я лично скорее отдал бы предпочтение гвоздю, вбитому в крышку гроба, как наиболее мертвому предмету из всех скобяных изделий. Но в этой поговорке сказалась мудрость наших предков, и если бы мой нечестивый язык посмел переиначить ее, вы были бы вправе сказать, что страна наша катится в пропасть. А посему да позволено мне будет повторить еще и еще раз: Марли был мертв, как гвоздь в притолоке.

Знал ли об этом Скрудж? Разумеется. Как могло быть иначе? Скрудж и Марли были компаньонами с незапамятных времен. Скрудж был единственным доверенным лицом Марли, его единственным уполномоченным во всех делах, его единственным душеприказчиком, его

единственным законным наследником, его единственным другом и единственным человеком, который проводил его на кладбище. И все же Скрудж был не настолько подавлен этим печальным событием, чтобы его деловая хватка могла ему изменить, и день похорон своего друга он отметил заключением весьма выгодной сделки.

Вот я упомянул о похоронах Марли, и это возвращает меня к тому, с чего я начал. Не могло быть ни малейшего сомнения в том, что Марли мертв. Это нужно отчетливо уяснить себе, иначе не будет ничего необычного в той истории, которую я намерен вам рассказать. Ведь если бы нам не было доподлинно известно, что отец Гамлета скончался еще задолго до начала представления, то его прогулка ветреной ночью по крепостному валу вокруг своего замка едва ли показалась бы нам чем-то сверхъестественным. Во всяком случае, не более сверхъестественным, чем поведение любого пожилого джентльмена, которому пришла блажь прогуляться в полночь в каком-либо не защищенном от ветра месте, ну, скажем, по кладбищу св. Павла, преследуя при этом единственную цель — поразить и без того расстроенное воображение сына.

Скрудж не вымарал имени Марли на вывеске. Оно красовалось там, над дверью конторы, еще годы спустя: СКРУДЖ и МАРЛИ. Фирма была хорошо известна под этим названием. И какой-нибудь новичок в делах, обращаясь к Скруджу, иногда называл его Скруджем, а иногда — Марли. Скрудж отзывался, как бы его ни окликнули. Ему было безразлично.

Ну и сквалыга же он был, этот Скрудж! Вот уж кто умел выжимать соки, вытягивать жилы, вколачивать в гроб, загребать, захватывать, заграбастывать, вымогать... Умел, умел старый греховодник! Это был не человек, а камень. Да, он был холоден и тверд, как камень, и еще никому ни разу в жизни не удалось высечь из его каменного сердца хоть искру сострадания. Скрытный, замкнутый, одинокий — он прятался как устрица в свою раковину. Душевный холод заморозил изнутри старческие черты его лица, заострил крючковатый нос, сморщил кожу на щеках, сковал походку,

заставил посинеть губы и покраснеть глаза, сделал ледяным его скрипучий голос. И даже его щетинистый подбородок, редкие волосы и брови, казалось, заиндевели от мороза. Он всюду вносил с собой эту леденящую атмосферу. Присутствие Скруджа замораживало его контору в летний зной, и он не позволял ей оттаять ни на полградуса даже на веселых святках.

Жара или стужа на дворе — Скруджа это беспокоило мало. Никакое тепло не могло его обогреть, и никакой мороз его не пробирал. Самый яростный ветер не мог быть злее Скруджа, самая лютая метель не могла быть столь жестока, как он, самый проливной дождь не был так беспощаден. Непогода ничем не могла его пронять. Ливень, град, снег могли похвалиться только одним преимуществом перед Скруджем — они нередко сходили на землю в щедром изобилии, а Скруджу щедрость была неведома.

Никто никогда не останавливал его на улице радостным возгласом: «Милейший Скрудж! Как поживаете? Когда зайдете меня проведать?» Ни один нищий не осмеливался протянуть к нему руку за подающим, ни один ребенок не решался спросить у него, который час, и ни разу в жизни ни единая душа не попросила его указать дорогу. Казалось, даже собаки, поводыри слепцов, понимали, что он за человек, и, завидев его, спешили утащить хозяина в первый попавшийся подъезд или в подворотню, а потом долго виляли хвостом, как бы говоря: «Да по мне, человек без глаз, как ты, хозяин, куда лучше, чем с дурным глазом».

А вы думаете, это огорчало Скруджа? Да несколько. Он совершал свой жизненный путь, сторонясь всех, и те, кто его хорошо знал, считали, что отпугивать малейшее проявление симпатии ему даже как-то сладко.

И вот однажды — и притом не когда-нибудь, а в самый сочельник, — старик Скрудж корпел у себя в конторе над счетными книгами. Была холодная, унылая погода, да к тому же еще туман, и Скрудж слышал, как за окном прохожие сновали взад и вперед, громко топая по тротуару, отдуваясь и колотя себя по бокам, чтобы согреться. Городские часы на колокольне только что пробили три, но становилось уже темно, да в тот день и с утра все,

и огоньки свечей, затеплившихся в окнах контор, ложились багровыми мазками на темную завесу тумана — такую плотную, что, казалось, ее можно пощупать рукой. Туман заползал в каждую щель, просачивался в каждую замочную скважину, и даже в этом тесном дворе дома напротив, едва различимые за густой грязно-серой пеленой, были похожи на призраки. Глядя на клубы тумана, спускавшиеся все ниже и ниже, скрывая от глаз все предметы, можно было подумать, что сама Природа открыла где-то по соседству пивоварню и варит себе пиво к празднику.

Скрудж держал дверь конторы приотворенной, дабы иметь возможность приглядывать за своим клерком, который в темной маленькой камерке, вернее сказать чуланчике, переписывал бумаги. Если у Скруджа в камине угля было маловато, то у клерка и того меньше, — казалось, там тлеет один-единственный уголек. Но клерк не мог подбросить угля, так как Скрудж держал ящик с углем у себя в комнате, и стоило клерку появиться там с каминным совком, как хозяин начинал выражать опасение, что придется ему расстаться со своим помощником. Поэтому клерк обмотал шею потуже белым шерстяным шарфом и попытался обогреться у свечки, однако, не обладая особенно пылким воображением, и тут потерпел неудачу.

— С наступающим праздником, дядюшка! Желаю вам хорошенько повеселиться на святках! — раздался жизнерадостный возглас. Это был голос племянника Скруджа. Молодой человек столь стремительно ворвался в контору, что Скрудж — не успел поднять голову от бумаг, как племянник уже стоял возле его стола.

— Вздор! — проворчал Скрудж. — Чепуха!

Племянник Скруджа так разогрелся, бодро шагая по морозцу, что казалось, от него пышет жаром, как от печки. Щеки у него рдели — прямо любо-дорого смотреть, глаза сверкали, а изо рта валил пар.

— Это святки — чепуха, дядюшка? — переспросил племянник. — Верно, я вас не понял!

— Слыхали! — сказал Скрудж. — Повеселиться на святках! А ты-то по какому праву хочешь веселиться? Какие у тебя основания для веселья? Или тебе кажется, что ты еще недостаточно беден?

— В таком случае, — весело отозвался племянник, — по какому праву вы так мрачно настроены, дядюшка? Какие у вас основания быть угрюмым? Или вам кажется, что вы еще недостаточно богаты?

На это Скрудж, не успев приготовить более вразумительного ответа, повторил свое «вздор» и присовокупил еще «чепуха!».

— Не ворчите, дядюшка, — сказал племянник.

— А что мне прикажешь делать. — возразил Скрудж, — ежели я живу среди таких остолопов, как ты? Веселые святки! Веселые святки! Да провались ты со своими святками! Что такое святки для таких, как ты? Это значит, что пора платить по счетам, а денег хоть шаром покати. Пора подводить годовой баланс, а у тебя из месяца в месяц никаких прибылей, одни убытки, и хотя к твоему возрасту прибавилась единица, к капиталу не прибавилось ни единого пенни. Да будь моя воля, — негодуяще продолжал Скрудж, — я бы такого олуха, который бегает и кричит: «Веселые святки! Веселые святки!» — сварил бы живьем вместе с начинкой для святочного пудинга, а в могилу ему вогнал кол из остролиста.

— Дядюшка! — взмолился племянник.

— Племянник! — отрезал дядюшка. — Справляй свои святки как знаешь, а мне предоставь справлять их по-своему.

— Справлять! — воскликнул племянник. — Так вы же их никак не справляете!

— Тогда не мешай мне о них забыть. Много проку тебе было от этих святок! Много проку тебе от них будет!

— Мало ли есть на свете хороших вещей, от которых мне не было проку, — отвечал племянник. — Вот хотя бы и рождественские праздники. Но все равно, помимо благоговения, которое испытываешь перед этим священным словом, и благочестивых воспоминаний, которые неотделимы от

него, я всегда ждал этих дней как самых хороших в году. Это радостные дни — дни милосердия, доброты, всепрощения. Это единственные дни во всем календаре, когда люди, словно по молчаливому согласию, свободно раскрывают друг другу сердца и видят в своих ближних, — даже в неимущих и обездоленных, — таких же людей, как они сами, бредущих одной с ними дорогой к могиле, а не каких-то существ иной породы, которым подобает идти другим путем. А посему, дядюшка, хотя это верно, что на святках у меня еще ни разу не прибавилось ни одной монетки в кармане, я верю, что рождество приносит мне добро и будет приносить добро, и да здравствует рождество!

Клерк в своем закутке невольно захлопал в ладоши, но тут же, осознав все неприличие такого поведения, бросился мешать кочергой угли и погасил последнюю худосочную искру...

— Эй, вы! — сказал Скрудж. — Еще один звук, и вы отпразднуете ваши святки где-нибудь в другом месте. А вы, сэр, — обратился он к племяннику, — вы, я вижу, краснобай. Удивляюсь, почему вы не в парламенте.

— Будет вам гневаться, дядюшка! Наведайтесь к нам завтра и отобедайте у нас.

Скрудж отвечал, что скорее он наведается к... Да, так и сказал, без всякого стеснения, и в заключение добавил еще несколько крепких словечек.

— Да почему же? — вскричал племянник. — Почему?

— А почему ты женился? — спросил Скрудж.

— Влюбился, вот почему.

— Влюбился! — проворчал Скрудж таким тоном, словно услышал еще одну отчаянную нелепость вроде «веселых святок». — Ну, честь имею!

— Но послушайте, дядюшка, вы же и раньше не жаловали меня своими посещениями, зачем же теперь сваливать все на мою женитьбу?

— Честь имею! — повторил Скрудж.

— Да я же ничего у вас не прошу, мне ничего от вас не надобно. Почему нам не быть друзьями?

— Честь имею! — сказал Скрудж.

— Очень жаль, что вы так непреклонны. Я ведь никогда не ссорился с вами, и никак не пойму, за что вы на меня сердитесь. И все-таки я сделал эту попытку к сближению ради праздника. Ну что ж, я своему праздничному настроению не изменю. Итак, желаю вам веселого рождества, дядюшка.

— Честь имею! — сказал Скрудж.

— И счастливого Нового года!

— Честь имею! — повторил Скрудж. И все же племянник, покидая контору, ничем не выразил своей досады. В дверях он задержался, чтобы принести свои поздравления клерку, который хотя и окоченел от холода, тем не менее оказался теплее Скруджа и сердечно отвечал на приветствие.

— Вот еще один умалишенный! — пробормотал Скрудж, подслушавший ответ клерка. — Какой-то жалкий писец, с жалованием в пятнадцать шиллингов, обремененный женой и детьми, а туда же — толкует о веселых святках! От таких впору хоть в Бедлам сбежать!

А бедный умалишенный тем временем, выпустив племянника Скруджа, выпустил новых посетителей. Это были два дородных джентльмена приятной наружности, в руках они держали какие-то папки и бумаги. Сняв шляпы, они вступили в контору и поклонились Скруджу.

— Скрудж и Марли, если не ошибаюсь? — спросил один из них, сверившись с каким-то списком. — Имею я удовольствие разговаривать с мистером Скруджем или мистером Марли?

— Мистер Марли уже семь лет как покоится на кладбище, — отвечал Скрудж. — Он умер в сочельник, ровно семь лет назад.

— В таком случае, мы не сомневаемся, что щедрость и широта натуры покойного в равной мере свойственна и пережившему его компаньону, — произнес один из джентльменов, предъявляя свои документы.

И он не ошибся, ибо они стояли друг друга, эти достойные компаньоны, эти родственные души. Услыхав зловещее слово «щедрость», Скрудж нахмурился, покачал головой и возвратил посетителю его бумаги.

— В эти праздничные дни, мистер Скрудж, — продолжал посетитель, беря с конторки перо, — более чем когда-либо подобает нам по мере сил проявлять заботу о сырых и обездоленных, кои особенно страдают в такую суровую пору года. Тысячи бедняков терпят нужду в самом необходимом. Сотни тысяч не имеют крыши над головой.

— Разве у нас нет острогов? — спросил Скрудж.

— Острогов? Сколько угодно, — отвечал посетитель, кладя обратно перо.

— А работные дома? — продолжал Скрудж. — Они действуют по-прежнему?

— К сожалению, по-прежнему. Хотя, — заметил посетитель, — я был бы рад сообщить, что их прикрыли.

— Значит, и принудительные работы существуют и закон о бедных остается в силе?

— Ни то, ни другое не отменено.

— А вы было напугали меня, господа. Из ваших слов я готов был заключить, что вся эта благая деятельность по каким-то причинам свелась на нет. Рад слышать, что я ошибся.

— Будучи убежден в том, что все эти законы и учреждения ничего не дают ни душе, ни телу, — возразил посетитель, — мы решили провести сбор пожертвований в пользу бедняков, чтобы купить им некую толику еды, питья и теплой одежды. Мы избрали для этой цели сочельник именно потому, что в эти дни нужда ощущается особенно остро, а изобилие дает особенно много радости. Какую сумму позволите записать от вашего имени?

— Никакой.

— Вы хотите жертвовать, не открывая своего имени?

— Я хочу, чтобы меня оставили в покое, — отрезал Скрудж. — Поскольку вы, джентльмены, пожелали узнать, чего я хочу, — вот вам мой ответ. Я не балую себя на праздниках и не имею средств баловать бездельников. Я поддерживаю упомянутые учреждения, и это обходится мне недешево. Нуждающиеся могут обращаться туда.

— Не все это могут, а иные и не хотят — скорее умрут.

— Если они предпочитают умирать, тем лучше, — сказал Скрудж. — Это сократит излишек населения. А кроме того, извините, меня это не интересует.

— Это должно бы вас интересовать.

— Меня все это совершенно не касается, — сказал Скрудж. — Пусть каждый занимается своим делом. У меня, во всяком случае, своих дел по горло. До свидания, джентльмены!

Видя, что настаивать бесполезно, джентльмены удалились, а Скрудж, очень довольный собой, вернулся к своим прерванным занятиям в необычно веселом для него настроении.

Меж тем за окном туман и мрак настолько сгустились, что на улицах появились факельщики, предлагавшие свои услуги — бежать впереди экипажей и освещать дорогу. Старинная церковная колокольня, чей древний осипший колокол целыми днями иронически косился на Скруджа из стрельчатого оконца, совсем скрылась из глаз, и колокол отзванивал часы и четверти где-то в облаках, сопровождая каждый удар таким жалобным дребезжащим тремоло, словно у него зуб на зуб не попадал от холода. А мороз все крепчал. В углу двора, примыкавшем к главной улице, рабочие чинили газовые трубы и развели большой огонь в жаровне, вокруг которой собралась толпа оборванцев и мальчишек. Они грели руки над жаровней и не сводили с пылающих углей зачарованного взора. Из водопроводного крана на улице сочилась вода, и он, позабытый всеми, понемногу обрастал льдом в тоскливом одиночестве, пока не превратился в унылую скользкую глыбу. Газовые лампы ярко горели в витринах магазинов, бросая красноватый

отблеск на бледные лица прохожих, а веточки и ягоды остролиста, украшавшие витрины, потрескивали от жары. Зеленные и курятные лавки были украшены так нарядно и пышно, что превратились в нечто диковинное, сказочное, и невозможно было поверить, будто они имеют какое-то касательство к таким обыденным вещам, как купля-продажа. Лорд-мэр в своей величественной резиденции уже наказывал пяти десяткам поваров и дворецких не ударить в грязь лицом, дабы он мог встретить праздник как подобает, и даже маленький портняжка, которого он обложил накануне штрафом за появление на улице в нетрезвом виде и кровожадные намерения, уже размешивал у себя на чердаке свой праздничный пудинг, в то время как его тощая жена с тощим сынишкой побежала покупать говядину.

Все гуще туман, все крепче мороз! Лютый, пронизывающий холод! Если бы святой Дунстан вместо раскаленных щипцов хватил сатану за нос таким морозцем, вот бы тот взвыл от столь основательного щипка!

Некий юный обладатель довольно ничтожного носа, к тому же порядком уже искусанного прожорливым морозом, который вцепился в него, как голодная собака в кость, прильнул к замочной скважине конторы Скруджа, желая прославить рождество, но при первых же звуках святочного гимна:

Да пошлет вам радость бог.

Пусть ничто вас не печалит...

Скрудж так решительно схватил линейку, что певец в страхе бежал, оставив замочную скважину во власти любезного Скруджу тумана и еще более близкого ему по духу мороза.

Наконец пришло время закрывать контору. Скрудж с неохотой слез со своего высокого табурета, подавая этим безмолвный знак изнывавшему в чулане клерку, и тот мгновенно задул свечу и надел шляпу.

— Вы небось завтра вовсе не намерены являться на работу? — спросил Скрудж.

— Если только это вполне удобно, сэ.

— Это совсем неудобно, — сказал Скрудж, — и недобросовестно. Но если я удержу с вас за это полкроны, вы ведь будете считать себя обиженным, не так ли?

Клерк выдавил некоторое подобие улыбки.

— Однако, — продолжал Скрудж, — вам не приходит в голову, что я могу считать себя обиженным, когда плачу вам жалование даром.

Клерк заметил, что это бывает один раз в году.

— Довольно слабое оправдание для того, чтобы каждый год, двадцать пятого декабря, запускать руку в мой карман, — произнес Скрудж, застегивая пальто на все пуговицы. — Но, как видно, вы во что бы то ни стало хотите прогулять завтра целый день. Так извольте послезавтра явиться как можно раньше.

Клерк пообещал явиться как можно раньше, и Скрудж, продолжая ворчать, шагнул за порог. Во мгновение ока контора была заперта, а клерк, скатившись раз двадцать — дабы воздать дань сочельнику — по ледяному склону Корнхилла вместе с оравой мальчишек (концы его белого шарфа так и развевались у него за спиной, ведь он не мог позволить себе роскошь иметь пальто), припустился со всех ног домой в Кемден-Таун — играть со своими ребятами в жмурки.

Скрудж съел свой унылый обед в унылом трактире, где он имел обыкновение обедать, просмотрел все имевшиеся там газеты и, скоротав остаток вечера над приходно-расходной книгой, отправился домой спать. Он проживал в квартире, принадлежавшей когда-то его покойному компаньону. Это была мрачная анфилада комнат, занимавшая часть невысокого угрюмого здания в глубине двора. Дом этот был построен явно не на месте, и невольно приходило на ум, что когда-то на заре своей юности он случайно забежал сюда, играя с другими домами в прятки, да так и застрял, не найдя пути обратно. Теперь уж это был весьма старый дом и весьма мрачный, и, кроме Скруджа, в нем никто не жил, а все остальные помещения сдавались внаем под конторы. Во дворе была такая темень, что даже Скрудж, знавший там

каждый булыжник, принужден был пробираться ощупью, а в черной подворотне дома клубился такой густой туман и лежал такой толстый слой инея, словно сам злой дух непогоды сидел там, погруженный в тяжелое раздумье.

И вот. Достоверно известно, что в дверном молотке, висевшем у входных дверей, не было ничего примечательного, если не считать его непомерно больших размеров. Неоспоримым остается и тот факт, что Скрудж видел этот молоток ежеутренне и ежевечерне с того самого дня, как поселился в этом доме. Не подлежит сомнению и то, что Скрудж отнюдь не мог похвалиться особенно живой фантазией. Она у него работала не лучше, а пожалуй, даже и хуже, чем у любого лондонца, не исключая даже (а это сильно сказано!) городских советников, олдерменов и членов гильдии. Необходимо заметить еще, что Скрудж, упомянув днем о своем компаньоне, скончавшемся семь лет назад, больше ни разу не вспомнил о покойном. А теперь пусть мне кто-нибудь объяснит, как могло случиться, что Скрудж, вставив ключ в замочную скважину, внезапно увидел перед собой не колотушку, которая, кстати сказать, не подверглась за это время решительно никаким изменениям, а лицо Марли.

Лицо Марли, оно не утопало в непроницаемом мраке, как все остальные предметы во дворе, а напротив того — излучало призрачный свет, совсем как гнилой омар в темном погребе. Оно не выражало ни ярости, ни гнева, а взирало на Скруджа совершенно так же, как смотрел на него покойный Марли при жизни, сдвинув свои бесцветные очки на бледный, как у мертвеца, лоб. Только волосы как-то странно шевелились, словно на них веяло жаром из горячей печи, а широко раскрытые глаза смотрели совершенно неподвижно, и это в сочетании с трупным цветом лица внушало ужас. И все же не столько самый вид или выражение этого лица было ужасно, сколько что-то другое, что было как бы вне его.

Скрудж во все глаза уставился на это диво, и лицо Марли тут же превратилось в дверной молоток.

Мы бы покривили душой, сказав, что Скрудж не был поражен и пожилам у него не пробежал тот холодок, которого он не ощущал с малолетства. Но после минутного колебания он снова решительно взялся за ключ, повернул его в замке, вошел в дом и зажег свечу.

Правда, он помедлил немного, прежде чем захлопнуть за собой дверь, и даже с опаской заглянул за нее, словно боясь увидеть косицу Марли, торчащую сквозь дверь на лестницу. Но на двери не было ничего, кроме винтов и гаек, на которых держался молоток, и, пробормотав: «Тьфу ты, пропасть!», Скрудж с треском захлопнул дверь.

Стук двери прокатился по дому, подобно раскату грома, и каждая комната верхнего этажа и каждая бочка внизу, в погребе виноторговца, отозвалась на него разноголосым эхом. Но Скрудж был не из тех, кого это может запугать. Он запер дверь на задвижку и начал не спеша подниматься по лестнице, оправляя по дороге свечу.

Вам знакомы эти просторные старые лестницы? Так и кажется, что по ним можно проехать в карете шестерней и протащить что угодно. И разве в этом отношении они не напоминают слегка наш новый парламент? Ну, а по той лестнице могло бы пройти целое погребальное шествие, и если бы даже кому-то пришла охота поставить катафалк поперек, оглоблями — к стене, дверцами — к перилам, и тогда на лестнице осталось бы еще достаточно свободного места.

Не это ли послужило причиной того, что Скруджу почудилось, будто впереди него по лестнице сами собой движутся в полумраке похоронные дроги? Чтобы как следует осветить такую лестницу, не хватило бы и полдюжины газовых фонарей, так что вам нетрудно себе представить, в какой мере одинокая свеча Скруджа могла рассеять мрак.

Но Скрудж на это плевать хотел и двинулся дальше вверх по лестнице. За темноту денег не платят, и потому Скрудж ничего не имел против темноты. Все же, прежде чем захлопнуть за собой тяжелую дверь своей квартиры, Скрудж прошелся по комнатам, чтобы удостовериться, что все в

порядке. И не удивительно — лицо покойного Марли все еще стояло у него перед глазами.

Гостиная, спальня, кладовая. Везде все как следует быть. Под столом — никого, под диваном — никого, в камине тлеет скупой огонек, миска и ложка ждут на столе, кастрюлька с жидкой овсянкой (коей Скрудж пользовал себя на ночь от простуды) — на полочке в очаге. Под кроватью — никого, в шкафу — никого, в халате, висевшем на стене и имевшем какой-то подозрительный вид, — тоже никого. В кладовой все на месте: ржавые каминные решетки, пара старых башмаков, две корзины для рыбы, трехногий умывальник и кочерга.

Удовлетворившись осмотром, Скрудж запер дверь в квартиру — запер, заметьте, на два оборота ключа, что вовсе не входило в его привычки. Оградив себя таким образом от всяких неожиданностей, он снял галстук, надел халат, ночной колпак и домашние туфли и сел у камина похлевать овсянки.

Огонь в очаге еле теплился — мало проку было от него в такую холодную ночь. Скруджу пришлось придвинуться вплотную к решетке и низко нагнуться над огнем, чтобы ощутить слабое дыхание тепла от этой жалкой горстки углей. Камин был старый-престарый, сложенный в незапамятные времена каким-то голландским купцом и облицованный диковинными голландскими изразцами, изображавшими сцены из священного писания. Здесь были Каины и Авели, дочери фараона и царицы Савские, Авраамы и Валтасары, ангелы, сходящие на землю на облаках, похожих на перины, и апостолы, пускающиеся в морское плавание на посудинах, напоминающих соусники, — словом, сотни фигур, которые могли бы занять мысли Скруджа. Однако нет — лицо Марли, умершего семь лет назад, возникло вдруг перед ним, ожившее вновь, как некогда жезл пророка[3], и заслонило все остальное. И на какой бы изразец Скрудж ни глянул, на каждом тотчас отчетливо выступала голова Марли — так, словно на гладкой поверхности изразцов не было вовсе никаких изображений, во

зато она обладала способностью воссоздавать образы из обрывков мыслей, беспорядочно мелькавших в его мозгу.

— Чепуха! — проворчал Скрудж и принялся шагать по комнате. Пройдясь несколько раз из угла в угол, он снова сел на стул и откинул голову на спинку. Тут взгляд его случайно упал на колокольчик. Этот старый, давным-давно ставший ненужным колокольчик был, с какой-то никому неведомой целью, повешен когда-то в комнате и соединен с одним из помещений верхнего этажа. С безграничным изумлением и чувством неизъяснимого страха Скрудж заметил вдруг, что колокольчик начинает раскачиваться. Сначала он раскачивался еще заметно, и звона почти не было слышно, но вскоре он зазвонил громко, и ему начали вторить все колокольчики в доме.

Звон длился, вероятно, не больше минуты, но Скруджу эта минута показалась вечностью. Потом колокольчики смолкли так же внезапно, как и зазвонили, — все разом. И тотчас откуда-то снизу донеслось бряцание железа — словно в погребе кто-то волочил по бочкам тяжелую цепь. Невольно Скруджу припомнились рассказы о том, что, когда в домах появляются привидения, они обычно влачат за собой цепи.

Тут дверь погреба распахнулась с таким грохотом, словно выстрелили из пушки, и звон цепей стал доноситься еще явственнее. Вот он послышался уже на лестнице и начал приближаться к квартире Скруджа.

— Все равно вздор! — молвил Скрудж. — Не верю я в привидения.

Однако он изменился в лице, когда увидел одно из них прямо перед собой. Без малейшей задержки привидение проникло в комнату через запертую дверь и остановилось перед Скруджем. И в ту же секунду пламя, совсем было угасшее в очаге, вдруг ярко вспыхнуло, словно хотело воскликнуть: «Я узнаю его! Это — Дух Марли!» — и снова померкло.

Да, это было его лицо. Лицо Марли. Да, это был Марли, со своей косицей, в своей неизменной жилетке, панталонах в обтяжку и сапогах. Кисточки на сапогах торчали, волосы на голове торчали, косица торчала,

полы сюртука оттопыривались. Длинная цепь опоясывала его и волочилась за ним по полу на манер хвоста. Она была составлена (Скрудж отлично ее рассмотрел) из ключей, висячих, замков, копилков, документов, гроссбухов и тяжелых кошельков с железными застежками. Тело призрака было совершенно прозрачно, и Скрудж, разглядывая его спереди, отчетливо видел сквозь жилетку две пуговицы сзади на сюртуке.

Скруджу не раз приходилось слышать, что у Марли нет сердца, но до той минуты он никогда этому не верил.

Да он и теперь не мог этому поверить, хотя снова и снова сверлил глазами призрак и ясно видел, что он стоит перед ним, и отчетливо ощущал на себе его мертвящий взгляд. Он разглядел даже, из какой ткани сшит платок, которым была окутана голова и шея призрака, и подумал, что такого платка он никогда не видал у покойного Марли. И все же он не хотел верить своим глазам.

— Что это значит? — произнес Скрудж язвительно и холодно, как всегда. — Что вам от меня надобно?

— Очень многое. — Не могло быть ни малейшего сомнения в том, что это голос Марли.

— Кто вы такой?

— Спроси лучше, кем я был?

— Кем же вы были в таком случае? — спросил Скрудж, повысив голос. — Для привидения вы слишком приве... разборчивы. — Он хотел сказать привередливы, но побоялся, что это будет смахивать на каламбур.

— При жизни я был твоим компаньоном, Джейкобом Марли.

— Не хотите ли вы... Не можете ли вы присесть? — спросил Скрудж, с сомнением вглядываясь в духа.

— Могу.

— Так сядьте.

Задавая свой вопрос, Скрудж не был уверен в том, что такое бестелесное существо в состоянии занимать кресло, и опасался, как бы не возникла

необходимость в довольно щекотливых разъяснениях. Но призрак как ни в чем не бывало уселся в кресло по другую сторону камина. Казалось, это было самое привычное для него дело.

— Ты не веришь в меня, — заметил призрак.

— Нет, не верю, — сказал Скрудж.

— Что же, помимо свидетельства твоих собственных чувств, могло бы убедить тебя в том, что я существую?

— Не знаю.

— Почему же ты не хочешь верить своим глазам и ушам?

— Потому что любой пустяк воздействует на них, — сказал Скрудж. — Чуть что неладно с пищеварением, и им уже нельзя доверять. Может быть, вы вовсе не вы, а непереваренный кусок говядины, или лишняя капля горчицы, или ломтик сыра, или непрожаренная картофелина. Может быть, вы явились не из царства духов, а из духовки, почему я знаю!

Скрудж был не очень-то большой остряк по природе, а сейчас ему и подавно было не до шуток, однако он пытался острить, чтобы хоть немного развеять страх и направить свои мысли на другое, так как, сказать по правде, от голоса призрака у него кровь стыла в жилах.

Сидеть молча, уставясь в эти неподвижные, остекленелые глаза, — нет, черт побери, Скрудж чувствовал, что он этой пытки не вынесет! И кроме всего прочего, было что-то невыразимо жуткое в загробной атмосфере, окружавшей призрака. Не то, чтоб Скрудж сам не ощущал, но он ясно видел, что призрак принес ее с собой, ибо, хотя тот и сидел совершенно неподвижно, волосы, полы его сюртука и кисточки на сапогах все время шевелились, словно на них дышало жаром из какой-то адской огненной печи.

— Видите вы эту зубочистку? — спросил Скрудж, переходя со страху в наступление и пытаясь хотя бы на миг отвратить от себя каменно-неподвижный взгляд призрака.

— Вижу, — промолвило привидение.

— Да вы же не смотрите на нее, — сказал Скрудж.

— Не смотрю, но вижу, — был ответ.

— Так вот, — молвил Скрудж. — Достаточно мне ее проглотить, чтобы до конца дней моих меня преследовали злые духи, созданные моим же воображением. Словом, все это вздор! Вздор и вздор!

При этих словах призрак испустил вдруг такой страшный вопль и принялся так неистово и жутко греметь цепями, что Скрудж вцепился в стул, боясь свалиться без чувств. Но и это было еще ничто по сравнению с тем ужасом, который объял его, когда призрак вдруг размотал свой головной платок (можно было подумать, что ему стало жарко!) и у него отвалилась челюсть.

Заломив руки, Скрудж упал на колени.

— Пощади! — взмолился он. — Ужасное видение, зачем ты мучаешь меня!

— Суетный ум! — отвечал призрак. — Веришь ты теперь в меня или нет?

— Верю, — воскликнул Скрудж. — Как уж тут не верить! Но зачем вы, духи, блуждаете по земле, и зачем ты явился мне?

— Душа, заключенная в каждом человеке, — возразил призрак, — должна общаться с людьми и, повсюду следуя за ними, соучаствовать в их судьбе. А тот, кто не исполнил этого при жизни, обречен мыкаться после смерти. Он осужден колесить по свету и — о, горе мне! — взирать на радости и горести людские, разделить которые он уже не властен, а когда-то мог бы — себе и другим на радость.

И тут из груди призрака снова исторгся вопль, и он опять загремел цепями и стал ломать свои бестелесные руки.

— Ты в цепях? — пролепетал Скрудж, дрожа. — Скажи мне — почему?

— Я ношу цепь, которую сам сковал себе при жизни, — отвечал призрак. — Я ковал ее звено за звеном и ярд за ярдом. Я опоясался ею по доброй воле и по доброй воле ее ношу. Разве вид этой цепи не знаком тебе?

Скруджа все сильнее пробирала дрожь.

— Быть может, — продолжал призрак, — тебе хочется узнать вес и длину цепи, которую таскаешь ты сам? В некий сочельник семь лет назад она была ничуть не короче этой и весила не меньше. А ты ведь немало потрудился над нею с той поры. Теперь это надежная, увесистая цепь!

Скрудж глянул себе под ноги, ожидая увидеть обвивавшую их железную цепь ярдов сто длиной, но ничего не увидел.

— Джейкоб! — взмолился он. — Джейкоб Марли, старина! Поговорим о чем-нибудь другом! Утешь, успокой меня, Джейкоб!

— Я не приношу утешения, Эбинизер Скрудж! — отвечал призрак. — Оно исходит из иных сфер. Другие вестники приносят его и людям другого сорта. И открыть тебе все то, что мне бы хотелось, я тоже не могу. Очень немногое дозволено мне. Я не смею отдыхать, не смею медлить, не смею останавливаться нигде. При жизни мой дух никогда не улетал за тесные пределы нашей конторы — слышишь ли ты меня! — никогда не блуждал за стенами этой норы — нашей меняльной лавки, — и годы долгих, изнурительных странствий ждут меня теперь.

Скрудж, когда на него нападало раздумье, имел привычку засовывать руки в карманы панталон. Размышляя над словами призрака, он и сейчас машинально сунул руки в карманы, не вставая с колен и не подымая глаз.

— Ты, должно быть, странствуешь не спеша, Джейкоб, — почтительно и смиренно, хотя и деловито заметил Скрудж.

— Не спеша! — фыркнул призрак.

— Семь лет как ты мертвец, — размышлял Скрудж. — И все время в пути!

— Все время, — повторил призрак. — И ни минуты отдыха, ни минуты покоя. Непрестанные угрызения совести.

— И быстро ты передвигаешься? — поинтересовался Скрудж.

— На крыльях ветра, — отвечал призрак.

— За семь лет ты должен был покрыть порядочное расстояние, — сказал Скрудж.

Услышав эти слова, призрак снова испустил ужасающий вопль и так неистово загремел цепями, тревожа мертвое безмолвие ночи, что постовой полисмен имел бы полное основание привлечь его к ответственности за нарушение общественной тишины и порядка.

— О раб своих пороков и страстей! — вскричало привидение. — Не знать того, что столетия неустанного труда душ бессмертных должны кануть в вечность, прежде чем осуществится все добро, которому надлежит восторжествовать на земле! Не знать того, что каждая христианская душа, творя добро, пусть на самом скромном поприще, найдет свою земную жизнь слишком быстротечной для безграничных возможностей добра! Не знать того, что даже веками раскаяния нельзя возместить упущенную на земле возможность сотворить доброе дело. А я не знал! Не знал!

— Но ты же всегда хорошо вел свои дела, Джейкоб, — пробормотал Скрудж, который уже начал применять его слова к себе.

— Дела! — вскричал призрак, снова заламывая руки. — Забота о ближнем — вот что должно было стать моим делом. Общественное благо — вот к чему я должен был стремиться. Милосердие, сострадание, щедрость, вот на что должен был я направить свою деятельность. А занятия коммерцией — это лишь капля воды в безбрежном океане предначертанных нам дел.

И призрак потряс цепью, словно в ней-то и крылась причина всех его бесплодных сожалений, а затем грохнул ею об пол.

— В эти дни, когда год уже на исходе, я страдаю особенно сильно, — промолвило привидение. — О, почему, проходя в толпе ближних своих, я опускал глаза долу и ни разу не поднял их к той благословенной звезде, которая направила стопы волхвов к убогому крову. Ведь сияние ее могло бы указать и мне путь к хижине бедняка.

У Скруджа уже зуб на зуб не попадал — он был чрезвычайно напуган тем, что призрак все больше и больше приходит в волнение.

— Внемли мне! — вскричал призрак. — Мое время истекает.

— Я внемлю, — сказал Скрудж, — но пожалей меня. Джейкоб, не изъясняйся так возвышенно. Прощу тебя, говори попроще!

— Как случилось, что я предстал пред тобой, в облике, доступном твоему зрению, — я тебе не открою. Незримый, я сидел возле тебя день за днем.

Открытие было не из приятных. Скруджа опять затрясло как в лихорадке, и он отер выступавший на лбу холодный пот.

— И, поверь мне, это была не легкая часть моего искусства, — продолжал призрак. — И я прибыл сюда этой ночью, дабы возвестить тебе, что для тебя еще не все потеряно. Ты еще можешь избежать моей участи, Эбинизер, ибо я похлопотал за тебя.

— Ты всегда был мне другом, — сказал Скрудж. — Благодарю тебя.

— Тебя посетят, — продолжал призрак, — еще три Духа.

Теперь и у Скруджа отвисла челюсть.

— Уж не об этом ли ты похлопотал, Джейкоб, не в этом ли моя надежда? — спросил он упавшим голосом.

— В этом.

— Тогда... тогда, может, лучше не надо, — сказал Скрудж.

— Если эти Духи не явятся тебе, ты пойдешь по моим стопам, — сказал призрак. — Итак, ожидай первого Духа завтра, как только пробьет Час Полуночи.

— А не могут ли они прийти все сразу, Джейкоб? — робко спросил Скрудж. — Чтобы уж поскорее с этим покончить?

— Ожидай второго на следующую ночь в тот же час. Ожидай третьего — на третьи сутки в полночь, с последним ударом часов. А со мной тебе уже не суждено больше встретиться. Но смотри, для своего же блага запомни твердо все, что произошло с тобой сегодня.

Промолвив это, дух Марли взял со стола свой платок и снова обмотал им голову. Скрудж догадался об этом, услышав, как лязгнули зубы призрака, когда подтянутая платком челюсть стала на место. Тут он осмелился поднять

глаза и увидел, что его потусторонний пришелец стоит перед ним, вытянувшись во весь рост и перекинув цепь через руку на манер шлейфа. Призрак начал пятиться к окну, и одновременно с этим рама окна стала потихоньку подыматься. С каждым его шагом она подымалась все выше и выше, и когда он достиг окна, оно уже было открыто.

Призрак поманил Скруджа к себе, и тот повиновался. Когда между ними оставалось не более двух шагов, призрак предостерегающе поднял руку. Скрудж остановился.

Он остановился не столько из покорности, сколько от изумления и страха. Ибо как только рука призрака поднялась вверх, до Скруджа донеслись какие-то неясные звуки: смутные и бессвязные, но невыразимо жалобные причитания и стоны, тяжкие вздохи раскаяния и горьких сожалений. Призрак прислушивался к ним с минуту, а затем присоединил свой голос к жалобному хору и, воспарив над землей, растаял во мраке морозной ночи за окном.

Любопытство пересилило страх, и Скрудж тоже приблизился к окну и выглянул наружу.

Он увидел сонмы привидений. С жалобными воплями и стенаниями они беспокойно носились по воздуху туда и сюда, и все, подобно духу Марли, были в цепях. Не было ни единого призрака, не отягощенного цепью, но некоторых (как видно, членов некоего дурного правительства) сковывала одна цепь. Многих Скрудж хорошо знал при жизни, а с одним пожилым призраком в белой жилетке был когда-то даже на короткой ноге. Этот призрак, к щиколотке которого был прикован несгораемый шкаф чудовищных размеров, жалобно сетовал на то, что лишен возможности помочь бедной женщине, сидевшей с младенцем на руках на ступеньках крыльца. Да и всем этим духам явно хотелось вмешаться в дела смертных и принести добро, но они уже утратили эту возможность навеки, и именно это и было причиной их терзаний.

Туман ли поглотил призраки, или они сами превратились в туман — Скрудж так и не понял. Только они растаяли сразу, как и их призрачные голоса, и опять ночь была как ночь, и все стало совсем как прежде, когда он возвращался к себе домой.

Скрудж затворил окно и обследовал дверь, через которую проник к нему призрак Марли. Она была по-прежнему заперта на два оборота ключа, — ведь он сам ее запер, — и все засовы были в порядке. Скрудж хотел было сказать «чепуха!», но осекся на первом же слогe. И то ли от усталости и пережитых волнений, то ли от разговора с призраком, который навеял на него тоску, а быть может и от соприкосновения с Потусторонним Миром или, наконец, просто от того, что час был поздний, но только Скрудж вдруг почувствовал, что его нестерпимо клонит ко сну. Не раздеваясь, он повалился на постель и тотчас заснул как убитый.

Строфа вторая. Первый из трех Духов

Когда Скрудж проснулся, было так темно, что, выглянув из-за полога, он едва мог отличить прозрачное стекло окна от непроницаемо черных стен комнаты. Он зорко вглядывался во мрак — зрение у него было острое, как у хорька, — и в это мгновение часы на соседней колокольне пробили четыре четверти. Скрудж прислушался.

К его изумлению часы гулко пробили шесть ударов, затем семь, восемь... — и смолкли только на двенадцатом ударе. Полночь! А он лег спать в третьем часу ночи! Часы били неправильно. Верно, в механизм попала сосулька. Полночь!

Скрудж нажал пружинку своего хронометра, дабы исправить скандальную ошибку церковных часов. Хронометр быстро и четко отзвонил двенадцать раз.

— Что такое? Быть того не может! — произнес Скрудж. — Выходит, я проспал чуть ли не целые сутки! А может, что-нибудь случилось с солнцем и сейчас не полночь, а полдень?

Эта мысль вселила в него такую тревогу, что он вылез из постели и ошупью добрался до окна. Стекло заиндевело. Чтобы хоть что-нибудь увидеть, пришлось протереть его рукавом, но и после этого почти ничего увидеть не удалось. Тем не менее Скрудж установил, что на дворе все такой же густой туман и такой же лютый мороз и очень тихо и безлюдно — никакой суматохи, никакого переполоха, которые неминуемо должны были возникнуть, если бы ночь прогнала в неурочное время белый день и воцарилась на земле. Это было уже большим облегчением для Скруджа, так как иначе все его векселя стоили бы не больше, чем американские ценные бумаги, ибо, если бы на земле не существовало больше такого понятия, как день, то и формула: «...спустя три дня по получении сего вам надлежит уплатить мистеру Эбинизеру Скруджу или его приказу...», не имела бы ровно никакого смысла.

Скрудж снова улегся в постель и стал думать, думать, думать и ни до чего додуматься не мог. И чем больше он думал, тем больше ему становилось не по себе, а чем больше он старался не думать, тем неотвязней думал.

Призрак Марли нарушил его покой. Всякий раз, как он, по зрелом размышлении, решал, что все это ему просто приснилось, его мысль, словно растянутая до отказа и тут же отпущенная пружина, снова возвращалась в исходное состояние, и вопрос: «Сон это или явь?» — снова вставал перед ним и требовал разрешения.

Размышляя так, Скрудж пролежал в постели до тех пор, пока церковные часы не отзвонили еще три четверти, и тут внезапно ему вспомнилось предсказание призрака — когда часы пробьют час, к нему явится езде один посетитель. Скрудж решил бодрствовать, пока не пробьет урочный час, а принимая во внимание, что заснуть сейчас ему было не легче, чем вознестись живым на небо, это решение можно назвать довольно мудрым.

Последние четверть часа тянулись так томительно долго, что Скрудж начал уже сомневаться, не пропустил ли он, задремав, бой часов. Но вот до его настороженного слуха долетел первый удар.

— Динь-дон!

— Четверть первого, — принялся отсчитывать Скрудж.

— Динь-дон!

— Половина первого! — сказал Скрудж.

— Динь-дон!

— Без четверти час, — сказал Скрудж.

— Динь-дон!

— Час ночи! — воскликнул Скрудж, торжествуя. — И все! И никого нет!

Он произнес это прежде, чем услышал удар колокола. И тут же он прозвучал: густой, гулкой, заунывный звон — ЧАС. В то же мгновение вспышка света озарила комнат), и чья-то невидимая рука откинула полог кровати.

Да, повторяю, чья-то рука откинула полог его кровати и притом не за спиной у него и не в ногах, а прямо перед его глазами. Итак, полог кровати был отброшен, в Скрудж, привскочив на постели, очутился лицом к лицу с таинственным пришельцем, рука которого отдернула полог. Да, они оказались совсем рядом, вот как мы с вами, ведь я мысленно стою у вас за плечом, мой читатель.

Скрудж увидел перед собой очень странное существо, похожее на ребенка, но еще более на старичка, видимого словно в какую-то сверхъестественную подзорную трубу, которая отдаляла его на такое расстояние, что он уменьшился до размеров ребенка. Его длинные рассыпавшиеся по плечам волосы были белы, как волосы старца, однако на лице не видно было ни морщинки и на щеках играл нежный румянец. Руки у него были очень длинные и мускулистые, а кисти рук производили впечатление недюжинной силы. Ноги — обнаженные так же, как и руки, — поражали изяществом формы. Облачено это существо было в белоснежную тунику, подпоясанную дивно сверкающим кушаком, и держало в руке зеленую ветку остролиста, а подол его одеяния, в странном несоответствии с

этой святочной эмблемой зимы, был украшен живыми цветами. Но что было удивительнее всего, так это яркая струя света, которая била у него из макушки вверх и освещала всю его фигуру. Это, должно быть, и являлось причиной того, что под мышкой Призрак держал гасилку в виде колпака, служившую ему, по-видимому, головным убором в тех случаях, когда он не был расположен самоосвещаться.

Впрочем, как заметил Скрудж, еще пристальней взглядевшись в своего гостя, не это было наиболее удивительной его особенностью. Ибо, подобно тому как пояс его сверкал и переливался огоньками, которые вспыхивали и потухали то в одном месте, то в другом, так и вся его фигура как бы переливалась, теряя то тут, то там отчетливость очертаний, и Призрак становился то одноруким, то одноногим, то вдруг обрастал двадцатью ногами зараз, но лишался головы, то приобретал нормальную пару ног, но терял все конечности вместе с туловищем и оставалась одна голова. При этом, как только какая-нибудь часть его тела растворялась в непроницаемом мраке, казалось, что она пропадала совершенно бесследно. И не чудо ли, что в следующую секунду недостающая часть тела была на месте, и Привидение как ни в чем не бывало приобретало свой прежний вид.

— Кто вы, сэр? — спросил Скрудж. — Не тот ли вы Дух, появление которого было мне предсказано?

— Да, это я.

Голос Духа звучал мягко, даже нежно, и так тихо, словно долетал откуда-то издалека, хотя Дух стоял рядом.

— Кто вы или что вы такое? — спросил Скрудж.

— Я — Святочный Дух Прошлых Лет.

— Каких прошлых? Очень давних? — осведомился Скрудж, приглядываясь к этому карлику.

— Нет, на твоей памяти.

Скруджу вдруг нестерпимо захотелось, чтобы Дух надел свой головной убор. Почему возникло у него такое желание, Скрудж, вероятно, и сам не

смог бы объяснить, если бы это потребовалось, но так или иначе он попросил Привидение надеть колпак.

— Как! — вскричал Дух. — Ты хочешь своими нечистыми руками погасить благой свет, который я излучаю? Тебе мало того, что ты — один из тех, чьи пагубные страсти создали эту гасилку и вынудили меня год за годом носить ее, надвинув на самые глаза!

Скрудж как можно почтительнее заверил Духа, что он не имел ни малейшего намерения его обидеть и, насколько ему известно, никогда и ни при каких обстоятельствах не мог принуждать его к ношению колпака. Затем он позволил себе осведомиться, что привело Духа к нему.

— Забота о твоём благе, — отвечивал Дух.

Скрудж сказал, что очень ему обязан, а сам подумал, что не мешали бы ему лучше спать по ночам, — вот это было бы благо. Как видно, Дух услышал его мысли, так как тотчас сказал:

— О твоём спасении, в таком случае. Берегись! С этими словами он протянул к Скруджу свою сильную руку и легко взял его за локоть.

— Встань! И следуй за мной!

Скрудж хотел было сказать, что час поздний и погода не располагает к прогулкам, что в постели тепло, а на дворе холодище — много ниже нуля, что он одет очень легко — халат, колпак и ночные туфли, — а у него и без того уже насморк... но руке, которая так нежно, почти как женская, сжимала его локоть, нельзя было противиться. Скрудж встал с постели. Однако заметив, что Дух направляется к окну, он в испуге уцепился за его одеяние.

— Я простой смертный, — взмолился Скрудж, — я могу упасть.

— Дай мне коснуться твоей груди, — сказал Дух, кладя руку ему на сердце. — Это поддержит тебя, и ты преодолеешь и не такие препятствия.

С этими словами он прошел сквозь стену, увлекая за собой Скруджа, и они очутились на пустынной проселочной дороге, по обеим сторонам которой расстилались поля. Город скрылся из глаз. Он исчез бесследно, а

вместе с ним рассеялись и мрак и туман. — Был холодный, ясный, зимний день, и снег устилал землю.

— Боже милостивый! — воскликнул Скрудж, всплеснув руками и озираясь по сторонам. — Я здесь рос! Я бегал здесь мальчишкой!

Дух обратил к Скруджу кроткий взгляд. Его легкое прикосновение, сколь ни было оно мимолетно и невесомо, разбудило какие-то чувства в груди старого Скруджа. Ему чудилось, что на него повеяло тысячью запахов, и каждый запах будил тысячи воспоминаний о давным-давно забытых думах, стремлениях, радостях, надеждах.

— Твои губы дрожат, — сказал Дух. — А что это катится у тебя по щеке?

Скрудж срывающимся голосом, — вещь для него совсем необычная, — пробормотал, что это так, пустяки, и попросил Духа вести его дальше.

— Узнаешь ли ты эту дорогу? — спросил Дух.

— Узнаю ли я? — с жаром воскликнул Скрудж. — Да я бы прошел по нее с закрытыми глазами.

— Не странно ли, что столько лет ты не вспоминал о ней! — заметил Дух. — Идем дальше.

Они пошли по дороге, где Скруджу был знаком каждый придорожный столб, каждое дерево. Наконец вдали показался небольшой городок с церковью, рыночной площадью и мостом над прихотливо извивающейся речкой. Навстречу стали попадаться мальчишки верхом на трусивших рысцой косматых лошаденках или в тележках и двуколках, которыми правили фермеры. Все ребяташки задорно перекликались друг с другом, и над простором полей стоял такой веселый гомон, что морозный воздух, казалось, дрожал от смеха, радуясь их веселью.

— Все это лишь тени тех, кто жил когда-то, — сказал Дух. — И они не подозревают о нашем присутствии.

Веселые путники были уже совсем близко, и по мере того как они приближались, Скрудж узнавал их всех, одного за другим, и называл по

именам. Почему он был так безмерно счастлив при виде их? Что блеснуло в его холодных глазах и почему сердце так запрыгало у него в груди, когда ребятишки поравнялись с ним? Почему душа его исполнилась умиления, когда он услышал, как, расставаясь на перекрестках и разъезжаясь по домам, они желают друг другу веселых святок? Что Скруджу до веселых святок? Да пропади они пропадом! Был ли ему от них какой-нибудь прок?

— А школа еще не совсем опустела, — сказал Дух. — Какой-то бедный мальчик, позабытый всеми, остался там один-одинешенек.

Скрудж отвечал, что он это знает, и всхлипнул.

Они свернули с проезжей дороги на памятную Скруджу тропинку и вскоре подошли к красному кирпичному зданию, с увенчанной флюгером небольшой круглой башенкой, внутри которой висел колокол. Здание было довольно большое, но находилось в состоянии полного упадка. Расположенные во дворе обширные службы, казалось, пустовали без всякой пользы. На стенах их от сырости проступила плесень, стекла в окнах были выбиты, а двери сгнили. В конюшнях рылись и кудахтали куры, каретный сарай и навесы зарастали сорной травой. Такое же запустение царило и в доме.

Скрудж и его спутник вступили в мрачную прихожую; и, заглядывая то в одну, то в другую растворенную дверь, они увидели огромные холодные и почти пустые комнаты.

В доме было сыро, как в склепе, и пахло землей, и что-то говорило вам, что здесь очень часто встают при свечах и очень редко едят досыта.

Они направились к двери в глубине прихожей. Дух впереди, Скрудж — за ним. Она распахнулась, как только они приблизились к ней, и их глазам предстала длинная комната с уныло голыми стенами, казавшаяся еще более унылой оттого, что в ней рядами стояли простые некрашенные парты. За одной из этих парт они увидели одинокую фигурку мальчика, читавшего книгу при скудном огоньке камина, и Скрудж тоже присел за парту и заплакал, узнав в этом бедном, всеми забытом ребенке самого себя, каким он

был когда-то. Все здесь: писк и возня мышей за деревянными панелями, и доносившееся откуда-то из недр дома эхо и звук капли из оттаявшего желоба на сумрачном дворе, и вздохи ветра в безлистных сучьях одинокого тополя, и скрип двери пустого амбара, раскачивающейся на ржавых петлях, и потрескивание дров в камине — все находило отклик в смягчившемся сердце Скруджа и давало выход слезам.

Дух тронул его за плечо и указал на его двойника — погруженного в чтение ребенка. Внезапно за окном появился человек в чужеземном одеянии, с топором, заткнутым за пояс. Он стоял перед ними как живой, держа в поводу осла, навьюченного дровами.

— Да это же Али Баба! — не помня себя от восторга, вскричал Скрудж. — Это мой дорогой, старый, честный Али Баба! Да, да, я знаю! Как-то раз на святках, когда этот заброшенный ребенок остался здесь один, позабытый всеми, Али Баба явился ему. Да, да, взаправду явился, вот как сейчас! Ах, бедный мальчик! А вот и Валентин и его лесной брат Орсон — вот они, вот! А этот, как его, ну тот, кого положили, пока он спал, в исподнем у ворот Дамаска, — разве вы не видите его? А вон конюх султана, которого джины перевернули вверх ногами! Вон он — стоит на голове! Поделом ему! Я очень рад. Как посмел он жениться на принцессе!

То-то были бы поражены все коммерсанты Лондонского Сити, с которыми Скрудж вел дела, если бы они могли видеть его счастливое, восторженное лицо и слышать, как он со всей присущей ему серьезностью несет такой вздор да еще не то плачет, не то смеется самым диковинным образом!

— А вот и попугай! — восклицал Скрудж. — Сам зеленый, хвостик желтый, и на макушке хохолок, похожий на пучок салата! Вот он! «Бедный Робин Крузо, — сказал он своему хозяину, когда тот возвратился домой, проплыв вокруг острова. — Бедный Робин Крузо! Где ты был, Робин Крузо?» Робинзон думал, что это ему пригрезилось, только ничуть не бывало — это говорил попугай, вы же знаете. А вон и Пятница — мчится со всех ног к

бухте! Ну же! ну! Скорей! — И тут же, с внезапностью, столь несвойственной его характеру, Скрудж, глядя на самого себя в ребячьем возрасте, вдруг преисполнился жалости и, повторяя: — Бедный, бедный мальчуган! — снова заплакал. — Как бы я хотел... — пробормотал он затем, утирая глаза рукавом, и сунул руку в карман. Потом, оглядевшись по сторонам, добавил: — Нет, теперь уж поздно.

— А чего бы ты хотел? — спросил его Дух.

— Да ничего, — отвечал Скрудж. — Ничего. Вчера вечером какой-то мальчуган запел святочную песню у моих дверей. Мне бы хотелось дать ему что-нибудь, вот и все.

Дух задумчиво улыбнулся и, взмахнув рукой, сказал:

— Поглядим на другое рождество.

При этих словах Скрудж-ребенок словно бы попрос на глазах, а комната, в которой они находились, стала еще темнее и грязнее. Теперь видно было, что панели в ней рассохлись, оконные рамы растрескались, от потолка отвалились куски штукатурки, обнажив дранку. Но когда и как это произошло, Скрудж знал не больше, чем мы с вами. Он знал только, что так и должно быть, что именно так все и было. И снова он находился здесь совсем один, в то время как все другие мальчики отправились домой встречать веселый праздник.

Но теперь он уже не сидел за книжкой, а в унынии шагал из угла в угол.

Тут Скрудж взглянул на Духа и, грустно покачав головой, устремил в тревожном ожидании взгляд на дверь.

Дверь распахнулась, и маленькая девочка, несколькими годами моложе мальчика, вбежала в комнату. Кинувшись к мальчику на шею, она принялась целовать его, называя своим дорогим братцем.

— Я приехала за тобой, дорогой братец! — говорила малютка, всплескивая тоненькими ручонками, восторженно хлопая в ладоши и перегибаясь чуть не пополам от радостного смеха. — Ты поедешь со мной домой! Домой! Домой!

— Домой, малютка Фэн? — переспросил мальчик.

— Ну, да! — воскликнуло дитя, сияя от счастья. — Домой! Совсем! Навсегда! Отец стал такой добрый, совсем не такой, как прежде, и дома теперь как в раю. Вчера вечером, когда я ложилась спать, он вдруг заговорил со мной так ласково, что я не побоялась, — взяла и попросила его еще раз, чтобы он разрешил тебе вернуться домой. И вдруг он сказал: «Да, пускай приедет», и послал меня за тобой. И теперь ты будешь настоящим взрослым мужчиной, — продолжала малютка, глядя на мальчика широко раскрытыми глазами, — и никогда больше не вернешься сюда. Мы проведем вместе все святки, и как же мы будем веселиться!

— Ты стала совсем взрослой, моя маленькая Фэн! — воскликнул мальчик.

Девочка снова засмеялась, захлопала в ладоши и хотела погладить мальчика по голове, но не дотянулась и, заливаясь смехом, встала на цыпочки и обхватила его за шею. Затем, исполненная детского нетерпения, потянула его к дверям, и он с охотой последовал за ней.

Тут чей-то грозный голос закричал гулко на всю прихожую:

— Тащите вниз сундучок ученика Скруджа! — И сам школьный учитель собственной персоной появился в прихожей. Он окинул ученика Скруджа свирепо-снисходительным взглядом и пожал ему руку, чем поверг его в состояние полной растерянности, а затем повел обоих детей в парадную гостиную, больше похожую на обледеневший колодец. Здесь, залубенев от холода, висели на стенах географические карты, а на окнах стояли земной и небесный глобусы. Достав графин необыкновенно легкого вина и кусок необыкновенно тяжелого пирога, он предложил детям полакомиться этими деликатесами, а тощему слуге велел вынести почтальону стаканчик «того самого», на что он отвечал, что он благодарит хозяина, но если «то самое», чем его уже раз потчевали, то лучше не надо. Тем временем сундучок юного Скруджа был водружен на крышу почтовой кареты, и дети, не мешкая ни секунды, распрощались с учителем, уселись в экипаж и весело покатали со

двора. Быстро замелькали спицы колес, сбивая снег с темной листвы вечнозеленых растений.

— Хрупкое создание! — сказал Дух. — Казалось, самое легкое дуновение ветерка может ее погубить. Но у нее было большое сердце.

— О да! — вскричал Скрудж. — Ты прав, Дух, и не мне это отрицать, боже упаси!

— Она умерла уже замужней женщиной, — сказал Дух. — И помнится, после нее остались дети.

— Один сын, — поправил Скрудж.

— Верно, — сказал Дух. — Твой племянник. Скруджу стало как будто не по себе, и он буркнул:

— Да.

Всего секунду назад они покинули школу, и вот уже стояли на людной улице, а мимо них сновали тени прохожих, и тени повозок и карет катили мимо, прокладывая себе дорогу в толпе. Словом, они очутились в самой гуще шумной городской толчеи. Празднично разубранные витрины магазинов не оставляли сомнения в том, что снова наступили святки. Но на этот раз был уже вечер, и на улицах горели фонари.

Дух остановился у дверей какой-то лавки и спросил Скруджа, узнает ли он это здание.

— Еще бы! — воскликнул Скрудж. — Ведь меня когда-то отдали сюда в обучение!

Они вступили внутрь. При виде старого джентльмена в парике, восседавшего за такой высокой конторкой, что, будь она еще хоть на два дюйма выше, голова у него уперлась бы в потолок, Скрудж в неопишемом волнении воскликнул:

— Господи, спаси и помилуй! Да это же старикан Физзиуиг, живехонек!

Старый Физзиуиг отложил в сторону перо и поглядел на часы, стрелки которых показывали семь пополудни. С довольным видом он потер руки, обдернул жилетку на объемистом брюшке, рассмеялся так, что затрясся весь

от сапог до бровей, — и закричал приятным, густым, веселым, зычным басом:

— Эй, вы! Эбинизер! Дик!

И двойник Скруджа, ставший уже взрослым молодым «человеком», стремительно вбежал в комнату в сопровождении другого ученика.

— Да ведь это Дик Уилкинс! — сказал Скрудж, обращаясь к Духу. — Помереть мне, если это не он! Ну, конечно, он! Бедный Дик! Он был так ко мне привязан.

— Бросай работу, ребята! — сказал Физзиуиг. — На сегодня хватит. Ведь нынче сочельник, Дик! Завтра рождество, Эбинизер! Ну-ка, мигом запирайте ставни! — крикнул он, хлопая в ладоши. — Живо, живо! Марш!

Вы бы видели, как они взялись за дело! Раз, два, три — они уже выскочили на улицу со ставнями в руках; четыре, пять, шесть — поставили ставни на место; семь, восемь, девять — задвинули и закрепили болты, и прежде чем вы успели бы сосчитать до двенадцати, уже влетели обратно, дыша как призовые скакуны у финиша.

— Ого-го-го-го! — закричал старый Физзиуиг, с невиданным проворством выскакивая из-за конторки. — Тащите все прочь, ребятки! Расчистим-ка побольше места. Шевелись, Дик! Веселей, Эбинизер!

Тащить прочь! Интересно знать, чего бы они ни оттащили прочь, с благословения старика. В одну минуту все было закончено. Все, что только по природе своей могло передвигаться, так бесследно сгнуло куда-то с глаз долой, словно было изъято из обихода навеки. Пол подмели и обрызгали, лампы оправили, в камин подбросили дров, и магазин превратился в такой хорошо натопленный, уютный, чистый, ярко освещенный бальный зал, какой можно только пожелать для танцев в зимний вечер.

Пришел скрипач с нотной папкой, встал за высоченную конторку, как за дирижерский пульт, и принялся так наяривать на своей скрипке, что она завизжала, ну прямо как целый оркестр. Пришла миссис Физзиуиг — сплошная улыбка, самая широкая и добродушная на свете. Пришли три мисс

Физзиуиг — цветущие и прелестные. Пришли следом за ними шесть юных вздыхателей с разбитыми сердцами. Пришли все молодые мужчины и женщины, работающие в магазине. Пришла служанка со своим двоюродным братом — булочником. Пришла кухарка с закадычным другом своего родного брата — молочником. Пришел мальчишка-подмастерье из лавки насупротив, насчет которого существовало подозрение, что хозяин морит его голодом. Мальчишка все время пытался спрятаться за девчонку — служанку из соседнего дома, про которую уже доподлинно было известно, что хозяйка дерет ее за уши. Словом, пришли все, один за другим, — кто робко, кто смело, кто неуклюже, кто грациозно, кто расталкивая других, кто таща кого-то за собой, — словом, так или иначе, тем или иным способом, но пришли все. И все пустились в пляс — все двадцать пар разом. Побежали по кругу пара за парой, сперва в одну сторону, потом в другую. И пара за парой — на середину комнаты и обратно. И закружились по всем направлениям, образуя живописные группы. Прежняя головная пара, уступив место новой, не успевала пристроиться в хвосте, как новая головная пара уже вступала — и всякий раз раньше, чем следовало, — пока, наконец, все пары не стали головными и все не перепуталось окончательно. Когда этот счастливый результат был достигнут, старый Физзиуиг захлопал в ладоши, чтобы приостановить танец, и закричал:

— Славно сплясали! — И в ту же секунду скрипач погрузил разгоряченное лицо в заранее припасенную кружку с пивом. Но будучи решительным противником отдыха, он тотчас снова выглянул из-за кружки и, невзирая на отсутствие танцующих, опять запиликал, и притом с такой яростью, словно это был уже не он, а какой-то новый скрипач, задавшийся целью либо затмить первого, которого в полуобморочном состоянии оттащили домой на ставне, либо погибнуть.

А затем снова были танцы, а затем фанты и снова танцы, а затем был сладкий пирог, и глинтвейн, и по большому куску холодного ростбифа, и по большому куску холодной отварной говядины, а под конец были жареные

пирожки с изюмом и корицей и вволю пива. Но самое интересное произошло после ростбифа и говядины, когда скрипач (до чего же ловок, пес его возьми! Да, не нам с вами его учить, этот знал свое дело!) заиграл старинный контраданс «Сэр Роджер Каверли» и старый Физзиуиг встал и предложил руку миссис Физзиуиг. Они пошли в первой паре, разумеется, и им пришлось потрудиться на славу. За ними шло пар двадцать, а то и больше, и все — лихие танцоры, все — такой народ, что шутить не любят и уж коли возьмутся плясать, так будут плясать, не жалея пяток!

Но будь их хоть, пятьдесят, хоть сто пятьдесят пар — старый Физзиуиг и тут бы не сплосшал, да и миссис Физзиуиг тоже. Да, она воистину была под стать своему супругу во всех решительно смыслах. И если это не высшая похвала, то скажите мне, какая выше, и я отвечу — она достойна и этой. От икр мистера Физзиуига положительно исходило сияние. Они сверкали то тут, то там, словно две луны. Вы никогда не могли сказать с уверенностью, где они окажутся в следующее мгновение. И когда старый Физзиуиг и миссис Физзиуиг проделали все фигуры танца, как положено, — и бегом вперед, и бегом назад, и, взявшись за руки, галопом, и поклон, и реверанс, и покружились, и нырнули под руки, и возвратились, наконец, на свое место, старик Физзиуиг подпрыгнул и пристукнул в воздухе каблуками — да так ловко, что, казалось, ноги его подмигнули танцорам, — и тут же сразу стал как вкопанный.

Когда часы пробили одиннадцать, домашний бал окончился. Мистер и миссис Физзиуиг, став по обе стороны двери, пожимали руку каждому гостю или гостье и пожелали ему или ей веселых праздников. А когда все гости разошлись, хозяйева таким же манером распрощались и с учениками. И вот веселые голоса замерли вдали, а двое молодых людей отправились к своим койкам в глубине магазина.

Пока длился бал, Скрудж вел себя как умалишенный. Всем своим существом он был с теми, кто там плясал, с тем юношей, в котором узнал себя. Он как бы участвовал во всем, что происходило, все припоминал, всему

радовался и испытывал неизъяснимое волнение. И лишь теперь, когда сияющие физиономии Дика и юноши Скруджа скрылись из глаз, вспомнил он о Духе и заметил, что тот пристально смотрит на него, а сноп света у него над головой горит необычайно ярко.

— Как немного нужно, чтобы заставить этих простаков преисполниться благодарности, — заметил Дух.

— Немного? — удивился Скрудж.

Дух сделал ему знак прислушаться к задушевной беседе двух учеников, которые расточали хвалы Физзиуигу, а когда Скрудж повиновался ему, сказал:

— Ну что? Разве я не прав? Ведь он истратил сущую безделицу — всего три-четыре фунта того, что у вас на земле зовут деньгами. Заслуживает ли он таких похвал?

— Да не в этом суть, — возразил Скрудж, задетый за живое его словами и не замечая, что рассуждает не так, как ему свойственно, а как прежний юноша Скрудж. — Не в этом суть, Дух. Ведь от Физзиуига зависит сделать нас счастливыми или несчастными, а наш труд — легким или тягостным, превратить его в удовольствие или в муку. Пусть он делает это с помощью слова или взгляда, с помощью чего-то столь незначительного и невесомого, чего нельзя ни исчислить, ни измерить, — все равно добро, которое он творит, стоит целого состояния. — Тут Скрудж почувствовал на себе взгляд Духа и запнулся.

— Что же ты умолк? — спросил его Дух.

— Так, ничего, — отвечал Скрудж.

— Ну а все-таки, — настаивал Дух.

— Пустое, — сказал Скрудж, — пустое. Просто мне захотелось сказать два-три слова моему клерку. Вот и все.

Тем временем юноша Скрудж погасил лампу. И вот уже Скрудж вместе с Духом опять стояли под открытым небом.

— Мое время истекает, — заметил Дух. — Поспешите!

Слова эти не относились к Скруджу, а вокруг не было ни души, и тем не менее они тотчас произвели свое действие, Скрудж снова увидел самого себя. Но теперь он был уже значительно старше — в расцвете лет. Черты лица его еще не стали столь резки и суровы, как в последние годы, но заботы и скопидомство уже наложили отпечаток на его лицо. Беспokoйный, алчный блеск появился в глазах, и было ясно, какая болезненная страсть пустила корни в его душе и что станет с ним, когда она вырастет и черная ее тень поглотит его целиком.

Он был не один. Рядом с ним сидела прелестная молодая девушка в трауре. Слезы на ее ресницах сверкали в лучах исходившего от Духа сияния.

— Ах, все это так мало значит для тебя теперь, — говорила она тихо. — Ты поклоняешься теперь иному божеству, и оно вытеснило меня из твоего сердца. Что ж, если оно сможет поддержать и утешить тебя, как хотела бы поддержать и утешить я, тогда, конечно, я не должна печалиться.

— Что это за божество, которое вытеснило тебя? — спросил Скрудж.

— Деньги.

— Нет справедливости на земле! — молвил Скрудж. — Беспощаднее всего казнит свет бедность, и не менее сурово — на словах, во всяком случае, — осуждает погоню за богатством.

— Ты слишком трепещешь перед мнением света, — кротко укорила она его. — Всем своим прежним надеждам и мечтам ты изменил ради одной — стать неуязвимым для его булавочных уколов. Разве не видела я, как все твои благородные стремления гибли одно за другим и новая всепобеждающая страсть, страсть к наживе, мало-помалу завладела тобой целиком!

— Ну и что же? — возразил он. — Что плохого, даже если я и поумнел наконец? Мое отношение к тебе не изменилось.

Она покачала головой.

— Разве не так?

— Наша помолвка — дело прошлое. Оба мы были бедны тогда и довольствовались тем, что имели, надеясь со временем увеличить наш

достаток терпеливым трудом. Но ты изменился с тех пор. В те годы ты был совсем иным.

— Я был мальчишкой, — нетерпеливо отвечал он.

— Ты сам знаешь, что ты был не тот, что теперь, — возразила она. — А я все та же. И то, что сулило нам счастье, когда мы были как одно существо, теперь, когда мы стали чужими друг другу, предвещает нам только горе. Не стану рассказывать тебе, как часто и с какой болью размышляла я над этим. Да, я много думала и решила вернуть тебе свободу.

— Разве я когда-нибудь просил об этом?

— На словах — нет. Никогда.

— А каким же еще способом?

— Всем своим новым, изменившимся существом. У тебя другая душа, другой образ жизни, другая цель. И она для тебя важнее всего. И это сделало мою любовь ненужной для тебя. Она не имеет цены в твоих глазах. Признайся, — сказала девушка, кротко, но вместе с тем пристально и твердо глядя ему в глаза, — если бы эти узы не связывали нас, разве стал бы ты теперь домогаться моей любви, стараться меня завоевать? О нет!

Казалось, он помимо своей воли не мог не признать справедливости этих слов. Но все же, сделав над собой усилие, ответил:

— Это только ты так думаешь.

— Видит бог, я была бы рада думать иначе! — отвечала она. — Уж если я должна была, наконец, признать эту горькую истину, значит как же она сурова и неопровержима! Ведь не могу же я поверить, что, став свободным от всяких обязательств, ты взял бы в жены бесприданницу! Это — ты-то! Да ведь даже изливая мне свою душу, ты не в состоянии скрыть того, что каждый твой шаг продиктован Корыстью! Да если бы даже ты на миг изменил себе и остановил свой выбор на такой девушке, как я, разве я не понимаю, как быстро пришли бы вслед за этим раскаяние и сожаление! Нет, я понимаю все. И я освобождаю тебя от твоего слова. Освобождаю по доброй воле — во имя моей любви к тому, кем ты был когда-то.

Он хотел что-то сказать, но она продолжала, отворачиваясь от него:

— Быть может... Когда я вспоминаю прошлое, я верю в это... Быть может, тебе будет больно разлучиться со мной. Но скоро, очень скоро это пройдет, и ты с радостью позабудешь меня, как пустую, бесплодную мечту, от которой ты вовремя очнулся. А я могу только пожелать тебе счастья в той жизни, которую ты себе избрал! — С этими словами она покинула его, и они расстались навсегда.

— Дух! — вскричал Скрудж. — Я не хочу больше ничего видеть. Отведи меня домой. Неужели тебе доставляет удовольствие терзать меня!

— Ты увидишь еще одну тень Прошлого, — сказал Дух.

— Ни единой, — крикнул Скрудж. — Ни единой. Я не желаю ее видеть! Не показывай мне больше ничего!

Но неумолимый Дух, возложив на него обе руки, заставил взирать на то, что произошло дальше.

Они перенеслись в иную обстановку, и иная картина открылась их взору. Скрудж увидел комнату, не очень большую и не богатую, но вполне удобную и уютную. У камина, в котором жарко, по-зимнему, пылали дрова, сидела молодая красивая девушка. Скрудж принял было ее за свою только что скрывшуюся подружку — так они были похожи, — но тотчас же увидел и ту. Теперь это была женщина средних лет, все еще приятная собой. Она тоже сидела у камина напротив дочери. В комнате стоял невообразимый шум, ибо там было столько ребятишек, что Скрудж в своем взволнованном состоянии не смог бы их даже пересчитать. И в отличие от стада в известном стихотворении:

Коровки довольны,

Пастись им привольно,

Сорок щиплют траву, как одна,

где сорок коровок вели себя как одна, здесь каждый ребенок шумел как добрых сорок, и результаты были столь оглушительны, что превосходили всякое вероятие. Впрочем, это никого, по-видимому, не беспокоило.

Напротив, мать и дочка от души радовались и смеялись, глядя на ребяташек, а последняя вскоре и сама приняла участие в их шалостях, и маленькие разбойники стали немилосердно тормозить ее.

Ах, как бы мне хотелось быть одним из них! Но я бы никогда не был так груб, о нет, нет! Ни за какие сокровища не посмел бы я дернуть за эти косы или растрепать их. Даже ради спасения жизни не дерзнул бы я стащить с ее ножки — господи, спаси нас и помилуй! — бесценный крошечный башмачок. И разве отважился бы я, как эти отчаянные маленькие наглецы, обхватить ее за талию! Да если б моя рука рискнула только обвиться вокруг ее стана, она так бы и приросла к нему и никогда бы уж не выпрямилась в наказание за такую дерзость.

Впрочем, признаюсь, я бы безмерно желал коснуться ее губ, обратиться к ней с вопросом, видеть, как она приоткроет уста, отвечая мне! Любоваться ее опущенными ресницами, не вызывая краски на ее щеках! Распустить ее шелковистые волосы, каждая прядка которых — бесценное сокровище! Словом, не скрою, что я желал бы пользоваться всеми правами шаловливого ребенка, но быть вместе с тем достаточно взрослым мужчиной, чтобы знать им цену.

Но вот раздался стук в дверь, и все, кто был в комнате, с такой стремительностью бросились к дверям, что молодая девушка — с смеющимся лицом и в изрядно помятом платье — оказалась в самом центре буйной ватаги и приветствовала отца, едва тот успел ступить за порог в сопровождении рассыльного, нагруженного игрушками и другими рождественскими подарками. Тотчас под оглушительные крики беззащитный рассыльный был взят приступом. На него карабкались, приставив к нему вместо лестницы стулья, чтобы опустошить его карманы и отобрать у него пакеты в оберточной бумаге; его душили, обхватив за шею; на нем повисали, уцепившись за галстук; его дубасили по спине кулаками и пинали ногами, изъясняя этим самую нежную к нему любовь! А крики изумления и восторга, которыми сопровождалось вскрытие каждого пакета! А неопикуемый ужас,

овладевший всеми, когда самого маленького застигли на месте преступления — с игрушечной сковородкой, засунутой в рот, — и попутно возникло подозрение, что он уже успел проглотить деревянного индюка, который был приклеен к деревянной тарелке! А всеобщее ликование, когда тревога оказалась ложной! Все это просто не поддается описанию! Скажем только, что один за другим все ребяташки, — а вместе с ними и шумные изъяснения их чувств, — были удалены из гостиной наверх и водворены в постели, где мало-помалу и угомонились.

Теперь Скрудж устремил все свое внимание на оставшихся, и слеза затуманила его взор, когда хозяин дома вместе с женой и нежно прильнувшей к его плечу дочерью занял свое место у камина. Скрудж невольно подумал о том, что такое же грациозное, полное жизни создание могло бы и его называть отцом и обогревать дыханием своей весны суровую зиму его преклонных лет!

— Бэлл, — сказал муж с улыбкой, оборачиваясь к жене, — а я видел сегодня твоего старинного приятеля.

— Кого же это?

— Угадай!

— Как могу я угадать? А впрочем, кажется, догадываюсь! — воскликнула она и расхохоталась вслед за мужем. — Мистера Скруджа?

— Вот именно. Я проходил мимо его конторы, а он работал там при свече, не закрыв ставен, так что я при всем желании не мог его не увидеть. Его компаньон, говорят, при смерти, и он, понимаешь, сидит там у себя один-одинешенек. Один, как перст, на всем белом свете.

— Дух! — произнес Скрудж надломленным голосом. — Уведи меня отсюда.

— Я ведь говорил тебе, что все это — тени минувшего, — отвечал Дух. — Так оно было, и не моя в том вина.

— Уведи меня! — взмолился Скрудж. — Я не могу это вынести.

Он повернулся к Духу и увидел, что в лице его каким-то непостижимым образом соединились отдельные черты всех людей, которых тот ему показывал. Вне себя Скрудж сделал отчаянную попытку освободиться.

— Пусти меня! Отведи домой! За что ты преследуешь меня!

Борясь с Духом, — если это можно назвать борьбой, ибо Дух не оказывал никакого сопротивления и даже словно бы не замечал усилий своего противника, — Скрудж увидел, что сноп света у Духа над головой разгорается все ярче и ярче. Безотчетно чувствуя, что именно здесь скрыта та таинственная власть, которую имеет над ним это существо, Скрудж схватил колпак-гасилку и решительным движением нахлобучил Духу на голову.

Дух как-то сразу осел под колпаком, и он покрыл его до самых пят. Но как бы крепко ни прижимал Скрудж гасилку к голове Духа, ему не удалось потушить света, струившегося из-под колпака на землю.

Страшная усталость внезапно овладела Скруджем. Его стало непреодолимо клонить ко сну, и в ту же секунду он увидел, что снова находится у себя в спальне. В последний раз надавил он что было мочи на колпак-гасилку, затем рука его ослабла, и, повалившись на постель, он уснул мертвым сном.

Строфа третья. Второй, из трех Духов

Громко всхрапнув, Скрудж проснулся и сел на кровати, стараясь собраться с мыслями. На этот раз ему не надо было напоминать о том, что часы на колокольне скоро пробьют Час Полуночи. Он чувствовал, что проснулся как раз вовремя, так как ему предстояла беседа со вторым Духом, который должен был явиться к нему благодаря вмешательству в его дела Джейкоба Марли. Однако, раздумывая над тем, с какой стороны кровати отдернется на этот раз полог, Скрудж ощутил вдруг весьма неприятный холодок и поспешил сам, своими руками, отбросить обе половинки полога, после чего улегся обратно на подушки и окинул зорким взглядом комнату.

Он твердо решил, что на этот раз не даст застать себя врасплох и напугать и первый окликнет Духа.

Люди неробкого десятка, кои кичатся тем, что им сам черт не брат и они видали виды, говорят обычно, когда хотят доказать свою удаль и бесшабашность, что способны на все — от игры в орлянку до человекоубийства, а между этими двумя крайностями лежит, как известно, довольно обширное поле деятельности. Не ожидая от Скруджа столь высокой отваги, я должен все же заверить вас, что он готов был встретиться лицом к лицу с самыми страшными феноменами, и появление любых призраков — от грудных младенцев до носорогов — не могло бы его теперь удивить.

Однако будучи готов почти ко всему, он менее всего был готов к полному отсутствию чего бы то ни было, и потому, когда часы на колокольне пробили час и никакого привидения не появилось, Скруджа затрясло как в лихорадке. Прошло еще пять минут, десять, пятнадцать — ничего. Однако все это время Скрудж, лежа на кровати, находился как бы в самом центре багрово-красного сияния, которое лишь только часы пробили один раз, начало струиться непонятно откуда, и именно потому, что это было всего-навсего сияние и Скрудж не мог установить, откуда оно взялось и что означает, оно казалось ему страшнее целой дюжины привидений. У него даже мелькнула ужасная мысль, что он являет собой редчайший пример непроизвольного самовозгорания, но лишен при этом утешения знать это наверняка. Наконец он подумал все же — как вы или я подумали бы, без сомнения, с самого начала, ибо известно, что только тот, кто не попадал в затруднительное положение, знает совершенно точно, как при этом нужно поступать, и доведись ему, именно так бы, разумеется, и поступил, — итак, повторяю, Скрудж подумал все же, наконец, что источник призрачного света может находиться в соседней комнате, откуда, если приглядеться внимательнее, этот свет и струился. Когда эта мысль полностью проникла в его сознание, он тихонько сполз с кровати и, шаркая туфлями, направился к

двери. Лишь только рука его коснулась дверной щеколды, какой-то незнакомый голос, назвав его по имени, повелел ему войти. Скрудж повиновался.

Это была его собственная комната. Сомнений быть не могло. Но она странно изменилась. Все стены и потолок были убраны живыми растениями, и комната скорее походила на рощу. Яркие блестящие ягоды весело проглядывали в зеленой листве. Свежие твердые листья остролиста, омелы и плюща так и сверкали, словно маленькие зеркальца, развешенные на ветвях, а в камине гудело такое жаркое пламя, какого и не снилось этой древней окаменелости, пока она находилась во владении Скруджа и Марли и одну долгую зиму за другой холодала без огня. На полу огромной грудой, напоминающей трон, были сложены жареные индейки, гуси, куры, дичь, свиные окорока, большие куски говядины, молочные поросята, гирлянды сосисок, жареные пирожки, плумпудинги, бочонки с устрицами, горячие каштаны, румяные яблоки, сочные апельсины, ароматные груши, громадные пироги с ливером и дымящиеся чаши с пуншем, душистые пары которого стлались в воздухе, словно туман. И на этом возвышении непринужденно и величаво восседал такой веселый и сияющий Великан, что сердце радовалось при одном на него взгляде. В руке у него был факел, несколько похожий по форме на рог изобилия, и он поднял его высоко над головой, чтобы хорошенько осветить Скруджа, когда тот просунул голову в дверь.

— Войди! — крикнул Скруджу Призрак. — Войди, и будем знакомы, старина!

Скрудж робко шагнул в комнату и стал, понурился головой, перед Призраком. Скрудж был уже не прежний, угрюмый, Суровый, старик, и не решался поднять глаза и встретить ясный и добрый взор Призрака.

— Я Дух Нынешних Святых, — сказал Призрак. — Взгляни на меня!

Скрудж почтительно повиновался. Дух был одет в простой темно-зеленый балахон, или мантию, отороченную белым мехом. Одевание это свободно и небрежно спадало с его плеч, и широкая грудь великана была

обнажена, словно он хотел показать, что не нуждается ни в каких искусственных покровах и защите. Ступни, видневшиеся из-под пышных складок мантии, были босы, и на голове у Призрака тоже не было никакого убора, кроме венчика из остролиста, на которых сверкали кое-где льдинки. Длинные темно-каштановые кудри рассыпались по плечам, доброе открытое лицо улыбалось, глаза сияли, голос звучал весело, и все — и жизнерадостный вид, и свободное обхождение, и приветливо протянутая рука, — все в нем было приятно и непринужденно. На поясе у Духа висели старинные ножны, но — пустые, без меча, да и сами ножны были порядком изъедены ржавчиной.

— Ты ведь никогда еще не видал таких, как я! — воскликнул Дух.

— Никогда, — отвечал Скрудж.

— Никогда не общался с молодыми членами нашего семейства, из которых я — самый младший? Я хочу сказать — с теми из моих старших братьев, которые рождались в последние годы? — продолжал допрашивать Призрак.

— Как будто нет, — сказал Скрудж. — Боюсь, что нет. А у тебя много братьев, Дух?

— Свыше тысячи восьмисот, — отвечал Дух.

— Вот так семейка! Изволь-ка ее прокормить! — пробормотал Скрудж.

Святочный Дух встал.

— Дух, — сказал Скрудж смиренно. — Веди меня куда хочешь. Прошлую ночь я шел по принуждению и получил урок, который не пропал даром. Если этой ночью ты тоже должен чему-нибудь научить меня, пусть и это послужит мне на пользу.

— Коснись моей мантии.

Скрудж сделал, как ему было приказано, да уцепился за мантию покрепче.

Остролист, омела, красные ягоды, плющ, индейки, гуси, куры, битая птица, свиные окорока, говяжьи туши, поросята, сосиски, устрицы, пироги,

пудинги, фрукты и чаши с пуншем — все исчезло в мгновение ока. А с ними исчезла и комната, и пылающий камин, и багрово-красное сияние факела, и ночной мрак, и вот уже Дух и Скрудж стояли на городской улице. Было утро, рождественское утро и хороший крепкий мороз, и на улице звучала своеобразная музыка, немного резкая, но приятная, — счищали снег с тротуаров и сгребали его с крыш, к безумному восторгу мальчишек, смотревших, как, рассыпаясь мельчайшей пылью, рушатся на землю снежные лавины.

На фоне ослепительно белого покрова, лежавшего на кровлях, и даже не столь белоснежного — лежавшего на земле, стены домов казались сумрачными, а окна — и того еще сумрачнее и темнее. Тяжелые колеса экипажей и фургонов оставляли в снегу глубокие колеи, а на перекрестках больших улиц эти колеи, скрещиваясь сотни раз, образовали в густом желтом крошечном талого снега сложную сеть каналов, наполненных ледяной водой. Небо было хмуро, и улицы тонули в пепельно-грязной мгле, похожей не то на изморозь, не то на пар и оседавшей на землю темной, как сажа, росой, словно все печные трубы Англии сговорились друг с другом — и ну дымить, кто во что горазд! Словом, ни сам город, ни климат не располагали особенно к веселью, и тем не менее на улицах было весело, — так весело, как не бывает, пожалуй, даже в самый погожий летний день, когда солнце светит так ярко и воздух так свеж и чист.

А причина этого таилась в том, что люди, сгребавшие снег с крыш, полны были бодрости и веселья. Они задорно перекликались друг с другом, а порой и запускали в соседа снежком — куда менее опасным снарядом, чем те, что слетают подчас с языка, — и весело хохотали, если снаряд попадал в цель, и еще веселее — если он летел мимо. В курятных лавках двери были еще наполовину открыты, а прилавки фруктовых лавок переливались всеми цветами радуги. Здесь стояли огромные круглые корзины с каштанами, похожие на облаченные в жилеты животы веселых старых джентльменов. Они стояли, привалясь к притолоке, а порой и совсем выкатывались за порог,

словно боялись задохнуться от полнокровия и пресыщения. Здесь были и румяные, смуглолицые толстопузые испанские луковицы, гладкие и блестящие, словно лоснящиеся от жира щеки испанских монахов. Лукаво и нахально они подмигивали с полок пробежавшим мимо девушкам, которые с напускной застенчивостью поглядывали украдкой на подвешенную к потолку веточку омелы. Здесь были яблоки и груши, уложенные в высоченные красочные пирамиды. Здесь были гроздья винограда, развешенные тароватым хозяином лавки на самых видных местах, дабы прохожие могли, любуясь ими, совершенно бесплатно глотать слюнки. Здесь были груды орехов — коричневых, чуть подернутых пушком, — чей свежий аромат воскрешал в памяти былые прогулки по лесу, когда так приятно брести, утопая по щиколотку в опавшей листве, и слышать, как она шелестит под ногой. Здесь были печеные яблоки, пухлые, глянцевито-коричневые, выгодно оттенявшие яркую желтизну лимонов и апельсинов и всем своим аппетитным видом настойчиво и пылко убеждавшие вас отнести их домой в бумажном пакете и съесть на десерт. Даже золотые и серебряные рыбки, плававшие в большой чаше, поставленной в центре всего этого великолепия, — даже эти хладнокровные натуры понимали, казалось, что происходит нечто необычное, и, беззвучно разевая рты, все, как одна, в каком-то бесстрастном экстазе описывали круг за кругом внутри своего маленького замкнутого мирка.

А бакалейщики! О, у бакалейщиков всего одна или две ставни, быть может, были сняты с окон, но чего-чего только не увидишь, заглянув туда! И мало того, что чашки весов так весело позванивали, ударяясь о прилавок, а бечевка так стремительно разматывалась с катушки, а жестяные коробки так проворно прыгали с полки на прилавок, словно это были мячики в руках самого опытного жонглера, а смешанный аромат кофе и чая так приятно щекотал ноздри, а изюму было столько и таких редкостных сортов, а миндаль был так ослепительно бел, а палочки корицы — такие прямые и длинненькие, и все остальные пряности так восхитительно пахли, а цукаты

так соблазнительно просвечивали сквозь покрывавшую их сахарную глазурь, что даже у самых равнодушных покупателей начинало сосать под ложечкой! И мало того, что инжир был так мясист и сочен, а вяленые сливы так стыдливо рдели и улыбались так кисло-сладко из своих пышно разукрашенных коробок и все, решительно все выглядело так вкусно и так нарядно в своем рождественском уборе... Самое главное заключалось все же в том, что, невзирая на страшную спешку и нетерпение, которым все были охвачены, невзирая на то, что покупатели то и дело натывались друг на друга в дверях — их плетеные корзинки только трещали, — и забывали покупки на прилавке, и опрометью бросались за ними обратно, и совершали еще сотню подобных промахов, — невзирая на это, все в предвкушении радостного дня находилось в самом праздничном, самом отличном расположении духа, а хозяин и приказчики имели такой добродушный, приветливый вид, что блестящие металлические пряжки в форме сердца, которыми были пристегнуты тесемки их передников, можно было принять по ошибке за их собственные сердца, выставленные наружу для всеобщего обозрения и на радость рождественским галкам, дабы те могли поклевать их на святках.

Но вот заблаговестили на колокольне, призывая всех добрых людей в храм божий, и веселая, празднично разодетая толпа повалила по улицам. И тут же изо всех переулков и закоулков потекло множество народу: это бедняки несли своих рождественских гусей и уток в пекарни. Вид этих бедных людей, собравшихся попить, должно быть очень заинтересовал Духа, ибо он остановился вместе со Скруджем в дверях пекарни и, приподымая крышки с проносимых мимо кастрюль, стал кропить на пищу маслом из своего светильника. И, видно, это был совсем необычный светильник, так как стоило кому-нибудь столкнуться в дверях и завязать перебранку, как Дух кропил из своего светильника спорщиков и к ним тотчас возвращалось благодущие. Стыдно, говорили они, ссориться в первый день рождества. И верно, еще бы не стыдно!

В положенное время колокольный звон утих, и двери пекарен закрылись, но на тротуарах против подвальных окон пекарен появились проталины на снегу, от которых шел такой пар, словно каменные плиты тротуаров тоже варились или парились, и все это приятно свидетельствовало о том, что рождественские обеды уже поставлены в печь.

— Чем это ты на них покропил? — спросил Скрудж Духа. — Может, это придает какой-то особенный аромат кушаньям?

— Да, особенный.

— А ко всякому ли обеду он подойдет?

— К каждому, который подан на стол от чистого сердца, и особенно — к обеду бедняка.

— Почему к обеду бедняка особенно?

— Потому что там он нужней всего.

— Дух, — сказал Скрудж после минутного раздумья, — дивлюсь я тому, что именно ты, из всех существ, являющихся к нам из разных потусторонних сфер, именно ты, Святочный Дух, хочешь во что бы то ни стало помешать этим людям предаваться их невинным удовольствиям.

— Я? — вскричал Дух.

— Ты же хочешь лишить их возможности обедать каждый седьмой день недели — а у многих это единственный день, когда можно сказать, что они и впрямь обедают. Разве не так?

— Я этого хочу? — повторил Дух.

— Ты же хлопочешь, чтобы по воскресеньям были закрыты все пекарни, — сказал Скрудж. — А это то же самое.

— Я хлопочу? — снова возмутился Дух.

— Ну, прости, если я ошибся, но это делается твоим именем или, во всяком случае, от имени твоей родни, — сказал Скрудж.

— Тут, на вашей грешной земле, — сказал Дух, — есть немало людей, которые кичатся своей близостью к нам и, побуждаемые ненавистью, завистью, гневом, гордыней, ханжеством и себялюбием, творят свои дурные

дела, прикрываясь нашим именем. Но эти люди столь же чужды нам, как если бы они никогда и не рождались на свет. Запомни это и вини в их поступках только их самих, а не нас.

Скрудж пообещал, что так он и будет поступать впредь, и они, по-прежнему невидимые, перенесли на глухую окраину города. Надо сказать, что Дух обладал одним удивительным свойством, на которое Скрудж обратил внимание, когда они еще находились возле пекарни: невзирая на свой исполинский рост, этот Призрак чрезвычайно легко приспосабливался к любому месту и стоял под самой низкой кровлей столь же непринужденно, как если бы это были горделивые своды зала, и нисколько не терял при этом своего неземного величия.

И то ли доброму Духу доставляло удовольствие проявлять эту свою особенность, то ли он сделал это потому, что был по натуре великодушен и добр и жалел бедняков, но только прямо к жилищу клерка — того самого, что работал у Скруджа в конторе, — направился он и повлек Скруджа, крепко уцепившегося за край его мантии, за собой. На пороге дома Боба Крэтчита Дух остановился и с улыбкой окропил его жилище из своего светильника. Подумайте только! Жилище Боба, который и получал-то всего каких-нибудь пятнадцать «бобиков», сиречь шиллингов, в неделю! Боба, который по субботам клал в карман всего-навсего пятнадцать материальных воплощений своего христианского имени! И тем не менее святочный Дух удостоил своего благословения все его четыре каморки.

Тут встала миссис Крэтчит, супруга мистера Крэтчита, в дешевом, дважды перелицованном, но зато щедро отделанном лентами туалете — всего на шесть пенсов ленты, а какой вид! — и расстелила на столе скатерть, в чем ей оказала помощь Белинда Крэтчит, ее вторая дочка, тоже щедро отделанная лентами, а юный Питер Крэтчит погрузил тем временем вилку в кастрюлю с картофелем, и когда концы гигантского воротничка (эта личная собственность Боба Крэтчита перешла по случаю великого праздника во владение его сына, и прямого наследника) полезли от резкого движения ему

в рот, почувствовал себя таким франтом, что загорелся желанием немедленно щегольнуть своим крахмальным бельем на великосветском гулянье в парке. Тут в комнату с визгом ворвались еще двое Крэтчитов — младший сын и младшая дочка — и, захлебываясь от восторга, оповестили, что возле пекарни пахнет жареным гусем и они сразу по запаху учуяли, что это жарится их гусь. И зачарованные ослепительным видением гуся, нафаршированного луком и шалфеем, они принялись плясать вокруг стола, превознося до небес юного Пита Крэтчита, который тем временем так усердно раздувал огонь в очаге (он ничуть не возомнил о себе лишнего, несмотря на великолепие едва не задушившего его воротничка), что картофелины в лениво булькавшей кастрюле стали вдруг подпрыгивать и стучаться изнутри о крышку, требуя, чтобы их поскорее выпустили на волю и содрали с них шкурку.

— Куда это запропастился ваш бесценный папенька? — спросила миссис Крэтчит. — И ваш братец Малютка Тим! Да и Марте уже полчаса как надо бы прийти. В прошлое рождество она не запаздывала так.

— Марта здесь, маменька, — произнесла молодая девушка, появляясь в дверях.

— Марта здесь, маменька! — закричали младшие Крэтчиты. — Ура! А какой у нас будет гусь, Марта!

— Господь с тобой, душа моя, где это ты нынче запропала! — приветствовала дочку миссис Крэтчит и, расцеловав ее в обе щеки, хлопотливо помогла ей освободиться от капора и шали.

— Вчера допоздна сидели, маменька, надо было закончить всю работу, — отвечала девушка. — А сегодня все утро прибирались.

— Ладно! Слава богу, что пришла наконец! — сказала миссис Крэтчит. — Садись поближе к огню, душенька моя, обогрейся.

— Нет, нет! Папенька идет! — запищали младшие Крэтчиты, которые умудрялись поспевать решительно всюду. — Спрячься, Марта! Спрячься!

Марта, разумеется, спряталась, а в дверях появился сам отец семейства — щуплый человечек в поношенном костюме, подштопанном и вычищенном сообразно случаю, в теплом шарфе, свисавшем спереди фута на три, не считая бахромы, и с Малюткой Тимом на плече. Бедняжка Тим держал в руке маленький костыль, а ноги у него были в металлических шинах.

— А где же наша Марта? — вскричал Боб Крэтчит, озираясь по сторонам.

— Она не придет, — объявила миссис Крэтчит.

— Не придет? — повторил Боб Крэтчит упавшим голосом. А он-то мчался из церкви, как кровный скакун с Малюткой Тимом в седле, и пришел домой галопом! — Не придет к нам на первый день рождества?

Конечно, это была только шутка, но огорченный вид отца так растрогал Марту, что она, не выдержав характера, выскочила из-за двери кладовой и бросилась отцу на шею, а младшие Крэтчиты завладели Малюткой Тимом и потащили его на кухню — послушать, как бурлит вода в котле, в котором варится завернутый в салфетку пудинг.

— А как вел себя наш Малютка Тим? — осведомилась миссис Крэтчит, вдоволь посмеявшись над доверчивостью мужа, в то время как тот радостно расцеловался с дочкой.

— Это не ребенок, а чистое золото, — отвечал Боб. — Чистое золото. Он, понимаешь ли, так часто остается один и все сидит себе и раздумывает, и до такого иной раз додумается — просто диву даешься. Возвращаемся мы с ним домой, а он вдруг и говорит мне: хорошо, дескать, что его видели в церкви. Ведь он калека, и, верно, людям приятно, глядя на него, вспомнить в первый день рождества, кто заставил хромым ходить и слепых сделал зрячими.

Голос Боба заметно дрогнул, когда он заговорил о своем маленьком сыночке, а когда он прибавил, что Тим день ото дня становится все крепче и здоровее, голос у него задрожал еще сильнее.

Боб не успел больше ничего сказать — раздался стук маленького проворного костыля, и Малютка Тим, в сопровождении братца и сестрицы возвратился к своей скамеечке у огня. Боб, подвернув обшлага (бедняга, верно, думал, что им еще может что-нибудь повредить!), налил воды в кувшин, добавил туда джина и несколько ломтиков лимона и принялся все это старательно разбалтывать, а потом поставил греться на медленном огне. Тем временем юный Питер и двое вездесущих младших Крэтчитов отправились за гусем, с которым вскоре и возвратились в торжественной процессии.

Появление гуся произвело невообразимую суматоху. Можно было подумать, что эта домашняя птица такой феномен, по сравнению с которым черный лебедь самое заурядное явление. А впрочем, в этом бедном жилище гусь и впрямь был диковинкой. Миссис Крэтчит подогрела подливку (приготовленную заранее в маленькой кастрюльке), пока она не зашипела. Юный Питер с нечеловеческой энергией принялся разминать картофель. Мисс Белинда добавила сахару в яблочный соус. Марта обтерла горячие тарелки. Боб усадил Малютку Тима в уголку, рядом с собой, а Крэтчиты младшие расставили для всех стулья, не забыв при этом и себя, и застыли у стола на сторожевых постах, закупорив себе ложками рты, дабы не попросить кусочек гуся, прежде чем до них дойдет черед.

Но вот стол накрыт. Прочли молитву. Наступает томительная пауза. Все затаили дыхание, а миссис Крэтчит, окинув испытующим взглядом лезвие ножа для жаркого, приготовилась вонзить его в грудь птицы. Когда же нож вонзился, и брызнул сок, и долгожданный фарш открылся взору, единодушный вздох восторга пронесся над столом, и даже Малютка Тим, подстрекаемый младшими Крэтчитами, постучал по столу рукояткой ножа и слабо пискнул:

— Ура!

Нет, не бывало еще на свете такого гуся! Боб решительно заявил, что никогда не поверит, чтобы где-нибудь мог сыскаться другой такой

замечательный фаршированный гусь! Все наперебой восторгались его сочностью и ароматом, а также величиной и дешевизной. С дополнением яблочного соуса и картофельного пюре его вполне хватило на ужин для всей семьи. Да, в самом деле, они даже не смогли его прикончить, как восхищенно заметила миссис Крэтчит, обнаружив уцелевшую на блюде микроскопическую косточку. Однако каждый был сыт, а младшие Крэтчиты не только наелись до отвала, но перемазались луковой начинкой по самые брови. Но вот мисс Белинда сменила тарелки, и миссис Крэтчит в полном одиночестве покинула комнату, дабы вынуть пудинг из котла. Она так волновалась, что пожелала сделать это без свидетелей.

А ну как пудинг не дошел! А ну как он развалится, когда его будут выкладывать из формы! А ну как его стащили, пока они тут веселились и уплетали гуся! Какой-нибудь злоумышленник мог ведь перелезть через забор, забраться во двор и похитить пудинг с черного хода! Такие предположения заставили младших Крэтчитов помертветь от страха. Словом, какие только ужасы не полезли тут в голову!

Внимание! В комнату повалил пар! Это пудинг вынули из котла. Запахло, как во время стирки! Это — от мокрой салфетки. Теперь пахнет как возле трактира, когда рядом кондитерская, а в соседнем доме живет прачка! Ну, конечно, — несут пудинг!

И вот появляется миссис Крэтчит — покрасневшая, запыхавшаяся, но с горделивой улыбкой на лице и с пудингом на блюде, — таким необычайно твердым и крепким, что он более всего похож на рябое пушечное ядро. Пудинг охвачен со всех сторон пламенем от горящего рома и украшен рождественской веткой остролиста, воткнутой в самую его верхушку.

О дивный пудинг! Боб Крэтчит заявил, что за все время их брака миссис Крэтчит еще ни разу ни в чем не удавалось достигнуть такого совершенства, а миссис Крэтчит заявила, что теперь у нее на сердце полегчало, и она может признаться, как грызло ее беспокойство — хватит ли муки. У каждого было что сказать во славу пудинга, но никому и в голову не пришло не только

сказать, но хотя бы подумать, что это был очень маленький пудинг для такого большого семейства. Это было бы просто кощунством. Да каждый из Крэтчитов сгорел бы со стыда, если бы позволил себе подобный намек.

Но вот с обедом покончено, скатерть убрали со стола, в камине подмели, разожгли огонь. Попробовали содержимое кувшина и признали его превосходным. На столе появились яблоки и апельсины, а на угли высыпали полный совок каштанов. Затем все семейство собралось у камелька «в кружок», как выразился Боб Крэтчит, имея в виду, должно быть, полукруг. По правую руку Боба выстроилась в ряд вся коллекция фамильного хрусталя: два стакана и кружка с отбитой ручкой.

Эти сосуды, впрочем, могли вмещать в себя горячую жидкость ничуть не хуже каких-нибудь золотых кубков, и когда Боб наполнял их из кувшина, лицо его сияло, а каштаны на огне шипели и лопались с веселым треском. Затем Боб провозгласил:

— Веселых святок, друзья мои! И да благословит нас всех господь!

И все хором повторили его слова.

— Да осенит нас господь своею милостью! — промолвил и Малютка Тим, когда все умолкли.

Он сидел на своей маленькой скамеечке, тесно прижавшись к отцу. Боб любовно держал в руке его худенькую ручонку, словно боялся, что кто-то может отнять у него сынишку, и хотел все время чувствовать его возле себя.

— Дух, — сказал Скрудж, охваченный сочувствием, которого никогда прежде не испытывал. — Скажи мне, Малютка Тим будет жить?

— Я вижу пустую скамеечку возле этого нищего очага, — отвечал Дух. — И костыль, оставшийся без хозяина, но хранимый с любовью. Если Будущее не внесет в это изменений, ребенок умрет.

— Нет, нет! — вскричал Скрудж. — О нет! Добрый Дух, скажи, что судьба пощадит его!

— Если Будущее не внесет в это изменений, — повторил Дух, — дитя не доживет до следующих святок. Но что за беда? Если ему суждено умереть, пускай себе умирает, и тем сократит излишек населения!

Услыхав, как Дух повторяет его собственные слова, Скрудж повесил голову, терзаемый раскаянием и печалью.

— Человек! — сказал Дух, — Если в груди у тебя сердце, а не камень, остерегись повторять эти злые и пошлые слова, пока тебе еще не дано узнать, ЧТО есть излишек и ГДЕ он есть. Тебе ли решать, кто из людей должен жить и кто — умереть? Быть может, ты сам в глазах небесного судии куда менее достоин жизни, нежели миллионы таких, как ребенок этого бедняка. О боже! Какая-то букашка, пристроившись на былинке, выносит приговор своим голодным собратьям за то, что их так много расплодилось и копошится в пыли!

Скрудж согнулся под тяжестью этих укоров и потупился, трепеща. Но тут же поспешно вскинул глаза, услышав свое имя.

— За здоровье мистера Скруджа! — сказал Боб. — Я предлагаю тост за мистера Скруджа, без которого не справить бы нам этого праздника.

— Скажешь тоже — не справить! — вскричала миссис Крэтчит, вспыхнув. — Жаль, что его здесь нет. Я бы такой тост предложила за его здоровье, что, пожалуй, ему не поздоровилось бы!

— Моя дорогая! — укорил ее Боб. — При детях! В такой день!

— Да уж воистину только ради этого великого дня можно пить за здоровье такого гадкого, бесчувственного, жадного скареды, как мистер Скрудж, — заявила миссис Крэтчит. — И ты сам это знаешь, Роберт! Никто не знает его лучше, чем ты, бедняга!

— Моя дорогая, — кротко отвечал Боб. — Сегодня рождество.

— Так и быть, выпью за его здоровье ради тебя и ради праздника, — сказала миссис Крэтчит. — Но только не ради него. Пусть себе живет и здравствует. Пожелаем ему веселых святок и счастливого Нового года. То-то он будет весел и счастлив, могу себе представить!

Вслед за матерью выпили и дети, но впервые за весь вечер они пили не от всего сердца. Малютка Тим выпил последним — ему тоже был как-то не по душе этот тост. Мистер Скрудж был злым гением этой семьи. Упоминание о нем черной тенью легло на праздничное сборище, и добрых пять минут ничто не могло прогнать эту мрачную тень.

Но когда она развеялась, им стало еще веселее, чем прежде, от одного сознания, что со Скруджем-Сквалыжником на сей раз покончено. Боб рассказал, какое он присмотрел для Питера местечко, — если дело выгорит, у них прибавится целых пять шиллингов шесть пенсов в неделю. Крэтчиты младшие помирали со смеху при одной мысли, что их Питер станет деловым человеком, а сам юный Питер задумчиво уставился на огонь, устремив взгляд в узкую щель между концами воротничка и словно прикидывая, куда предпочтительнее будет поместить капитал, когда к нему начнут поступать такие несметные доходы. Тут Марта, которая была отдана в обучение шляпной мастерице, принялась рассказывать, какую ей приходится выполнять работу и по сколько часов трудиться без передышки, и как она рада, что завтра можно подольше поваляться в постели и хорошенько выспаться, благо праздник, и ее отпустили на весь день, и как намерена она видела одну графиню и одного лорда и лорд был «этакий невысокий, ну совсем как наш Питер». При этих словах Питер подтянул свой воротничок так высоко, что, если бы вы при этом присутствовали, вам, пожалуй, не удалось бы установить, есть ли у него вообще голова. А тем временем каштаны и кувшин уже не раз обошли всех вкруговую, и вот Малютка Тим тоненьким жалобным голоском затянул песенку о маленьком мальчике, заблудившемся в буран, и спел ее, поверьте, превосходно.

Конечно, все это было довольно убого и заурядно, никто в этом семействе не отличался красотой, никто не мог похвалиться хорошим костюмом, — насчет одежды у них вообще было небогато, — башмаки у всех просили каши, а юный Питер, судя по некоторым признакам, уже не раз имел случай познакомиться с ссудной кассой. И тем не менее все здесь были

счастливы, довольны друг другом, рады празднику и благодарны судьбе, а когда они стали исчезать, растворяясь в воздухе, лица их как-то особенно засветились, ибо Дух окропил их на прощанье маслом из своего факела, и Скрудж не мог оторвать от них глаз, а в особенности — от Малютки Тима.

Тем временем уже стемнело, и повалил довольно густой снег, и когда Скрудж в сопровождении Духа снова очутился на улице, в каждом доме во всех комнатах, от кухонь до гостиных, уже жарко пылали камины и в окнах заманчиво мерцало их веселое пламя. Здесь дрожащие отблески огня на стекле говорили о приготовлениях к уютному семейному обеду: у очага грелись тарелки, и чья-то рука уже поднялась, чтобы задернуть бордовые портьеры и отгородиться от холода и мрака. Там ребятишки гурьбой высыпали из дому прямо на снег навстречу своим теткам и дядям, кузенам и кузинам, замужним сестрам и женатым братьям, чтобы первыми их приветствовать. А вот на спущенных шторах мелькают тени гостей. А вот кучка красивых девушек в теплых капорах и меховых башмачках, щебеча без умолку, перебегает через дорогу к соседям, и горе одинокому холостяку (очаровательным плутовкам это известно не хуже нас), который увидит их разрумившиеся от мороза щечки!

Право, глядя на всех этих людей, направлявшихся на дружеские сборища, можно было подумать, что решительно все собрались в гости и ни в одном доме не осталось хозяев, чтобы гостей принять. Но это было не так. Гости поджидали в каждом доме и то и дело подбрасывали угля в камин.

И как же ликовал Дух! Как радостно устремлялся он вперед, обнажив свою широченную грудь, раскинув большие ладони и щедрой рукой разливая вокруг бесхитростное и зажигательное веселье. Даже фонарщик, бежавший по сумрачной улице, оставляя за собой дрожащую цепочку огней, и приодевшийся, чтобы потом отправиться в гости, громко рассмеялся, когда Дух пронесся мимо, хотя едва ли могло прийти бедняге в голову, что кто-нибудь, кроме его собственного праздничного настроения, составляет ему в эту минуту компанию.

И вдруг — а Дух хоть бы словом об этом предупредил — Скрудж увидел, что они стоят среди пустынного и мрачного торфяного болота. Огромные разбросанные в беспорядке каменные глыбы придавали болоту вид кладбища каких-то гигантов. Отовсюду сочилась вода — вернее, могла бы сочиться, если бы ее не сковал кругом, насколько хватал глаз, мороз, — и не росло ничего кроме мха, дрока и колючей сорной травы. На западе, на горизонте, закатившееся солнце оставило багрово-красную полосу, которая, словно чей-то угрюмый глаз, взирала на это запустенье и, становясь все уже и уже, померкла, наконец, слившись с сумраком беспросветной ночи.

— Где мы? — спросил Скрудж.

— Там, где живут рудокопы, которые трудятся в недрах земли, — отвечал Дух. — Но и они не чуждаются меня. Смотри!

В оконце какой-то хибарки блеснул огонек, и они поспешно приблизились к ней, пройдя сквозь глинобитную ограду. Их глазам предстала веселая компания, собравшаяся у пылающего очага. Там сидели старые-престарые старик и старуха со своими детьми, внуками и даже правнуками. Все они были одеты нарядно — по-праздничному. Старик слабым, дрожащим голосом, то и дело заглушаемым порывами ветра, проносившегося с завываньем над пустынным болотом, пел рождественскую песнь, знакомую ему еще с детства, а все подхватывали хором припев. И всякий раз, когда вокруг старика начинали звучать голоса, он веселел, оживлялся, и голос его креп, а как только голоса стихали, и его голос слабел и замирал.

Дух не замешкался у этой хижины, но, приказав Скруджу покрепче ухватиться за его мантию, полетел дальше над болотом... Куда? Неужто к морю? Да, к морю. Оглянувшись назад, Скрудж, к своему ужасу, увидел грозную гряду скал — оставшийся позади берег. Его оглушил грохот волн. Пенясь, дробясь, неистовствуя, они с ревом врывались в черные, ими же выдолбленные пещеры, словно в ярости своей стремились раздробить землю.

В нескольких милях от берега, на угрюмом, затерянном в море утесе, о который день за днем и год за годом разбивался свирепый прибой, стоял одинокий маяк. Огромные груды морских водорослей облепили его подножье, а буревестники (не порождение ли они ветра, как водоросли — порождение морских глубин?) кружили над ним, взлетая и падая, подобно волнам, которые они задевали крылом.

Но даже здесь двое людей, стороживших маяк, разожгли огонь в очаге, и сквозь узкое окно в каменной толще стены пламя бросало яркий луч света на бурное море. Протянув мозолистые руки над грубым столом, за которым они сидели, сторожа обменялись рукопожатием, затем подняли тяжелые кружки с грогом и пожелали друг другу веселого праздника, а старший, чье лицо, подобно деревянной скульптуре на носу старого фрегата, носило следы жестокой борьбы со стихией, затянул бодрую песню, звучащую как рев морского прибоя.

И вот уже Дух устремился вперед, над черным бушующим морем. Все вперед и вперед, пока — вдали от всех берегов, как сам он поведал Скруджу, — не опустился вместе с ним на палубу корабля. Они переходили от одной темной и сумрачной фигуры к другой, от кормчего у штурвала — к дозорному на носу, от дозорного — к матросам, стоявшим на вахте, и каждый из этих людей либо напевал тихонько рождественскую песнь, либо думал о наступивших святках, либо вполголоса делился с товарищем воспоминаниями о том, как он праздновал святки когда-то, и выражал надежду следующий праздник провести в кругу семьи. И каждый, кто был на корабле, — спящий или бодрствующий, добрый или злой, — нашел в этот день самые теплые слова для тех, кто был возле, и вспомнил тех, кто и вдали был ему дорог, и порадовался, зная, что им тоже отраднее вспоминать о нем. Словом, так или иначе, но каждый отметил в душе этот великий день.

И каково же было удивление Скруджа, когда, прислушиваясь к завыванию ветра и размышляя над суровой судьбой этих людей, которые неслись вперед во мраке, скользя над бездонной пропастью, столь же

неизведанной и таинственной, как сама Смерть, — каково же было его удивление, когда, погруженный в эти думы, он услышал вдруг веселый, заразительный смех. Но тут его ждала еще большая неожиданность, ибо он узнал смех своего племянника и обнаружил, что находится в светлой, просторной, хорошо натопленной комнате, а Дух стоит рядом и с ласковой улыбкой смотрит не на кого другого, как все на того же племянника!

— Ха-ха-ха! — заливался племянник Скруджа. — Ха-ха-ха!

Если вам, читатель, по какой-то невероятной случайности довелось знать человека, одаренного завидной способностью смеяться еще более заразительно, чем племянник Скруджа, скажу одно: вам неслыханно повезло. Представьте меня ему, и я буду очень дорожить этим знакомством.

Болезнь и скорбь легко передаются от человека к человеку, но все же нет на земле ничего более заразительного, нежели смех и веселое расположение духа, и я усматриваю в этом целесообразное, благородное и справедливое устройство вещей в природе. Итак, племянник Скруджа покатывался со смеху, держась за бока, тряся головой и строя самые уморительные гримасы, а его жена, племянница Скруджа по мужу, глядя на него, смеялась столь же весело. Да и гости не отставали от хозяев — и тоже хохотали во все горло:

— Ха-ха-ха-ха-ха!

— Он сказал, что святки — это вздор, чепуха, чтоб мне пропасть! — кричал племянник Скруджа. — И ведь всерьез сказал, ей-богу!

— Да как ему не совестно, Фред! — с возмущением вскричала племянница. Ох, уж эти женщины! Они никогда ничего не делают наполовину и судят обо всем со всей решительностью.

Племянница Скруджа была очень хороша собой, — на редкость хороша. Прелестное личико, наивно-удивленный взгляд, ямочки на щеках. Маленький пухлый ротик казался созданным для поцелуев, как оно без сомнения и было. Крошечные ямочки на подбородке появлялись и исчезали, когда она смеялась, и ни одно существо на свете не обладало парой таких

лучезарных глаз. Словом, надо признаться, что она умела подзадорить, но и приласкать — тоже.

— Он забавный старый чудак, — сказал племянник Скруджа. — Не особенно приветлив, конечно, ну что ж, его пороки несут в себе и наказание, и я ему не судья.

— Он ведь очень богат, Фред, — заметила племянница. — По крайней мере ты всегда мне это говорил.

— Да что с того, моя дорогая, — сказал племянник. — Его богатство ему не впрок. Оно и людям не приносит добра и ему не доставляет радости. Он лишил себя даже приятного сознания, что... ха-ха-ха!., что он может когда-нибудь осчастливить своими деньгами нас.

— Терпеть я его не могу! — заявила племянница, и сестры племянницы, да и все прочие дамы выразили совершенно такие же чувства.

— Ну, а по мне он ничего, — сказал племянник. — Мне жаль его, и я не могу питать к нему неприязни, даже если б захотел. Кто страдает от его злых причуд? Он сам — всегда и во всем. Вот, к примеру, он вбил себе в голову, что не любит нас, и не пожелал прийти отобедать с нами. К чему это привело? Лишился обеда, хотя и не бог вещь какого.

— А я полагаю, что вовсе не плохого, — возразила племянница, и все поддержали ее, а так как они только что отобедали и собрались у камина, возле которого на столике уже горела лампа и был приготовлен десерт, то с мнением их нельзя не считаться.

— Что ж, рад это слышать, — промолвил племянник Скруджа. — А то я не очень-то верю в искусство молодых хозяйшек. А вы что скажете, Топпер?

Топпер, который совершенно явно имел виды на одну из сестер хозяйки, отвечал, что всякий холостой мужчина — это жалкий отщепенец и не имеет права высказывать суждение о таком предмете. При этих словах сестра племянницы — не та, что с розами у корсажа, а пухленькая, с гофрированной кружевной оборочкой у ворота, — залилась краской.

— Ну же, Фред, продолжай, — потребовала племянница Скруджа, хлопая в ладоши. — Вечно он начнет рассказывать и не кончит! Такой нелепый человек!

Племянник Скруджа снова покатился со смеху, и так как смех его был заразителен, все, как один, последовали его примеру, хотя пухленькая сестра племянницы и старалась противостоять заразе, усиленно нюхая флакончик с ароматическим уксусом.

— Я хотел только заметить, — сказал племянник Скруджа, — что его антипатия к нам и нежелание повеселиться с нами вместе лишили его возможности провести несколько часов в приятном обществе, что не причинило бы ему вреда. Это, я думаю, во всяком случае приятнее, чем сидеть наедине со своими мыслями в старой, заплесневелой конторе или в его замшелой квартире. И я намерен приглашать его к нам каждый год, хочет он того или нет, потому что мне его жаль. Он может до конца дней своих хулить святки, но волей-неволей станет лучше судить о них, если из года в год я буду приходить к нему и говорить от чистого сердца: «Как поживаете, дядюшка Скрудж?» Если это расположит его хотя бы к тому, чтобы отписать в завещании своему бедному клерку пятьдесят фунтов — с меня и того довольно. Мне, кстати, сдается, что мои слова тронули его вчера.

Его слова тронули Скруджа! Такая нелепая фантазия дала повод к новому взрыву смеха, но хозяину по причине его на редкость добродушного нрава было совершенно все равно, над кем смеются гости, лишь бы они веселились от души, и, стремясь поддержать их в этом настроении, он с довольным видом пустил вкруговую бутылку вина.

Напившись чая, решили заняться музыкой. В этом семействе музыка была в чести, и когда там принимались распевать песни на два, а то и на три голоса с хором, можете мне поверить, что исполняли их со знанием дела. Особенно отличался мистер Топпер, который очень усердно гудел басом, и при том без особой даже натуги, так что лицо у него не багровело и на лбу не надувались жилы. Племянница Скруджа недурно играла на арфе и в числе

прочих музыкальных пьес исполнила одну простенькую песенку (совсем пустячок, вы бы через две минуты уже могли ее насвистать), которую певала когда-то одна маленькая девочка, та, что приехала однажды вечером, чтобы увезти Скруджа из пансиона. Это воспоминание воскресил в душе Скруджа Дух Прошлых Святков, и теперь, когда Скрудж услышал знакомую мелодию, картины былого снова ожили в его памяти. Скрудж слушал, и сердце его смягчалось все более и более, и ему уже казалось, что, внимай он чаще этим звукам в давно минувшие годы, и, быть может, он всегда стремился бы только к добру на счастье себе и людям, и не пришлось бы духу Джейкоба Марли вставать из могилы.

Однако не одной только музыке был посвящен этот вечер. Помузицировав, принялись играть в фанты. Ведь так отраднo порой снова стать хоть на время детьми! А особенно хорошо это на святках, когда мы празднуем рождение божественного младенца. Впрочем, постойте! Сначала играли в жмурки. Ну, конечно! И никто меня не убедит, что мистер Топпер действительно ничего не видел. Да я скорее поверю, что у него была еще одна пара глаз — на пятках. По-моему, они были в сговоре — он и племянник Скруджа. А Дух тоже был с ними заодно. Если бы вы видели, как мистер Топпер припустился напрямик за толстушкой с кружевной оборочкой, вы бы сами сказали, что это значит чересчур уж рассчитывать на легковерие человеческой природы. Опрокидывая стулья, роняя каминные щипцы, налетая на фортепьяно, он неотступно гнался за ней по пятам и чуть не задохся, запутавшись в портьерах! Он всегда безошибочно знал, в каком конце комнаты находится пухленькая сестрица хозяйки, и не желал ловить никого другого. Даже если бы вы нарочно поддались ему (а кое-кто и пытался это проделать), он бы, для отвода глаз, пожалуй, притворился, что хочет вас словить, — да только какой бы дурак ему поверил! — и тотчас устремился бы в другом направлении — за пухлой сестрицей.

— Это нечестно! — восклицала она, и не раз, и оно в самом деле было нечестно. Но как ни увертывалась она от него, как ни проскальзывала,

шелестя шелковыми юбками, перед самым его носом, ему все же удалось ее поймать, и вот тут — когда он загнал ее в угол, откуда ей уже не было спасения, — вот тут поведение его стало поистине чудовищным. Сколь гнусно было его притворство, когда он делал вид, что не узнает ее и должен коснуться лент у нее на голове и какого-то колечка на пальчике и какой-то цепочки на шее, чтобы удостовериться, что это действительно она. Без сомнения, она не преминула высказать ему свое мнение о нем, когда они, укрывшись за портьерой, поверяли друг другу какие-то секреты, в то время как с завязанными глазами бегал уже кто-то другой.

Племянница Скруджа не играла в жмурки. Ее удобно устроили в уютном уголке, усадив в глубокое кресло и подставив под ноги скамеечку, причем Дух и Скрудж оказались как раз за ее спиной. Но в фантах и она приняла участие, а когда играли в «Любишь не любишь» — так находчиво придумывала ответы на любую букву алфавита, что привела всех в неописуемый восторг. Столь же блистательно отличилась она и в игре «Как, Когда, Где» и к тайной радости племянника Скруджа совершенно затмила всех своих сестер, хотя они тоже были весьма шустрые девицы, что охотно подтвердил бы вам мистер Топпер. Гостей было человек двадцать, не меньше, и все — и молод и стар — принимали участие в играх, а вместе с ними и Скрудж. В своем увлечении игрой он забывал, что голос его беззвучен для ушей смертных, и не раз громко заявлял о своей догадке, и она почти всегда оказывалась правильной, ибо самые острые иголки, что выпускает уайтчеплская игольная фабрика, не могли бы сравниться по остроте с умом Скруджа, за исключением, конечно, тех случаев, когда он считал почему-либо необходимым прикидываться тупицей.

Такое его поведение пришлось, должно быть, Призраку по вкусу, ибо он бросил на Скруджа довольно благосклонный взгляд. Скрудж принялся, как ребенок, выпрашивать у него разрешения побыть с гостями, пока они не отправятся по домам, но Дух отвечал, что это невозможно.

— Они затеяли новую игру! — молил Скрудж. — Ну хоть полчасика, Дух! Только полчасика!

Игра называлась «Да и Нет». Племянник Скруджа должен был задумать какой-нибудь предмет, а остальные — угадать, что он задумал. По условиям игры он мог отвечать на все вопросы только «да» или «нет». Под перекрестным огнем посыпавшихся на него вопросов удалось мало-помалу установить, что он задумал некое животное, — ныне здравствующее животное, довольно противное животное, свирепое животное, животное, которое порой ворчит, порой рычит, а порой вроде бы разговаривает, и которое живет в Лондоне, и ходит по улицам, и которое не водят на цепи и не показывают за деньги, и живет оно не в зверинце, и мясом его не торгуют на рынке, и это не лошадь, и не осел, и не корова, и не бык, и не тигр, и не собака, и не свинья и не кошка, и не медведь. При каждом новом вопросе племянник Скруджа снова заливался хохотом и в конце концов пришел в такой раж, что вскочил с дивана и начал от восторга топтать ногами. Тут пухленькая сестричка племянницы расхохоталась вдруг так же неистово и воскликнула.

— Угадала! Я знаю, что вы задумали, Фред! Знак!

— Ну что? — закричал Фред.

— Это ваш дядюшка Скру-у-у-дж!

Да, так оно и было. Тут уж восторг стал всеобщим, хотя кое-кто нашел нужным возразить, что на вопрос: «Это медведь?» — следовало ответить не «нет», а «да», так как отрицательный ответ мог сбить с толку тех, кто уже был близок к истине.

— Ну, мы так потешились насчет старика, — сказал племянник, — что было бы черной неблагодарностью не выпить теперь за его здоровье. Прошу каждого взять свой бокал глинтвейна. Предлагаю тост за дядюшку Скруджа!

— За дядюшку Скруджа! — закричали все.

— Пожелаем старику, где бы он сейчас ни находился, веселого рождества и счастливого Нового года! — указал племянник. — Он не захотел

принять от меня этих пожеланий, но пусть они все же сбудутся. Итак, за дядюшку Скруджа!

А дядюшка Скрудж тем временем незаметно для себя так развеселился, и на сердце у него стало так легко, что он непременно провозгласил бы тост за здоровье всей честной компании, не подозревавшей о его присутствии, и поблагодарил бы ее в своей ответной, хотя и беззвучной речи, если бы Дух дал ему на это время. Но едва последнее слово слетело с уст племянника, как видение исчезло, и Дух со Скруджем снова пустились в странствие.

Далеко-далеко лежал их путь, и немало посетили они жилищ, и немало повидали отдаленных мест, и везде приносили людям радость и счастье. Дух стоял у изголовья больного, и больной ободрялся и веселел; он приближался к скитальцам, тоскующим на чужбине, и им казалось, что отчизна близко; к изнемогающим в житейской борьбе — и они окрылялись новой надеждой; к беднякам — и они обретали в себе богатство. В тюрьмах, больницах и богадельнях, в убогих приютах нищеты — всюду, где суетность и жалкая земная гордыня не закрывают сердца человека перед благодатным духом праздника, — всюду давал он людям свое благословение и учил Скруджа заповедям милосердия.

Долго длилась эта ночь, если то была всею одна лишь ночь, в чем Скрудж имел основания сомневаться, ибо ему казалось, что обе святочные недели пролетели с тех пор, как он пустился с Духом в путь. И еще одну странность заметил Скрудж: в то время как сам он внешне совсем не изменился, Призрак старел у него на глазах. Скрудж давно уже видел происходящую в Духе перемену, однако до поры до времени молчал. Но вот, покинув детский праздник, устроенный в крещенский вечер, и очутившись вместе с Духом на открытой равнине, он взглянул на него и заметил, что волосы его совсем поседели.

— Скажи мне, разве жизнь духов так коротка? — спросил его тут Скрудж.

— Моя жизнь на этой планете быстротечна, — отвечал Дух. — И сегодня ночью ей придет конец.

— Сегодня ночью? — вскричал Скрудж.

— Сегодня в полночь. Чу! Срок близится. В это мгновение часы на колокольне пробили три четверти двенадцатого.

— Прости меня, если об этом нельзя спрашивать, — сказал Скрудж, пристально глядя на мантию Духа. — Но мне чудится, что под твоим одеянием скрыто нечто странное. Что это виднеется из-под края твоей одежды — птичья лапа?

— Нет, даже на птичьей лапе больше мяса, чем на этих костях, — последовал печальный ответ Духа. — Взгляни!

Он откинул край мантии, и глазам Скруджа предстали двое детей — несчастные, замороженные, уродливые, жалкие и вместе с тем страшные. Стоя на коленях, они припали к ногам Духа и уцепились за его мантию.

— О Человек, взгляни на них! — воскликнул Дух. — Взгляни же, взгляни на них!

Это были мальчик и девочка. Тощие, мертвенно-бледные, в лохмотьях, они глядели исподлобья, как волчата, в то же время распластываясь у ног Духа в унижительной покорности. Нежная юность должна была бы цвести на этих щеках, играя свежим румянцем, но чья-то дряхлая, морщинистая рука, подобно руке времени, исказила, обезобразила их черты и иссушила кожу, обвисшую как тряпка. То, что могло бы быть престолом ангелов, стало приютом демонов, грозящих всему живому. За все века исполненной тайн истории мироздания никакое унижение или извращение человеческой природы, никакие нарушения ее законов не создавали, казалось, ничего столь чудовищного и отталкивающего, как эти два уродца.

Скрудж отпрянул в ужасе. Когда эти несчастные создания столь внезапно предстали перед ним, он хотел было сказать, что они очень славные дети, но слова застряли у него в горле, как будто язык не пожелал принять участия в такой вопиющей лжи.

— Это твои дети. Дух? — вот и все, что он нашел в себе силы произнести.

— Они — порождение Человека, — отвечал Дух, опуская глаза на детей. — Но видишь, они припали к моим стопам, прося защиты от тех, кто их породил. Имя мальчика — Невежество. Имя девочки — Нищета. Остерегайся обоих и всего, что им сродни, но пуще всего берегись мальчишки, ибо на лбу у него начертано «Гибель» и гибель он несет с собой, если эта надпись не будет стерта. Что ж, отрицай это! — вскричал Дух, повернувшись в сторону города и простирая к нему руку. — Поноси тех, кто станет тебе это говорить! Используй невежество и нищету в своих нечистых, своекорыстных целях! Увеличь их, умножь! И жди конца!

— Разве нет им помощи, нет пристанища? — воскликнул Скрудж.

— Разве нет у нас тюрем? — спросил Дух, повторяя собственные слова Скруджа. — Разве нет у нас рабочих домов?

В это мгновение часы пробили полночь. Скрудж оглянулся, ища Духа, но его уже не было. Когда двенадцатый удар колокола прогудел в тишине, Скрудж вспомнил предсказание Джейкоба Марли и, подняв глаза, увидел величественный Призрак, закутанный с ног до головы в плащ с капюшоном и, подобно облаку или туману, плывший над землей к нему навстречу.

Строфа четвертая. Последний из Духов

Дух приближался — безмолвно, медленно, сурово. И когда он был совсем близко, такой мрачной таинственностью повеяло от него на Скруджа, что тот упал перед ним на колени.

Черное, похожее на саван одеяние Призрака скрывало его голову, лицо, фигуру — видна была только одна простертая вперед рука. Не будь этой руки, Призрак слился бы с ночью и стал бы неразличим среди окружавшего его мрака.

Благоговейный трепет объял Скруджа, когда эта высокая величавая и таинственная фигура остановилась возле него. Призрак не двигался и не произносил ни слова, а Скрудж испытывал только ужас — больше ничего.

— Дух Будущих Святых, не ты ли почтил меня своим посещением? — спросил, наконец, Скрудж.

Дух ничего не ответил, но рука его указала куда-то вперед.

— Ты намерен открыть мне то, что еще не произошло, но должно произойти в будущем? — продолжал свои вопросы Скрудж. — Не так ли, Дух?

Складки одеяния, ниспадающего с головы Духа, слегка шевельнулись, словно Дух кивнул. Другого ответа Скрудж не получил.

Хотя общество привидений стало уже привычным для Скруджа, однако эта молчаливая фигура внушала ему такой ужас, что колени у него подгибались, и, собравшись следовать за Призраком, он почувствовал, что едва держится на ногах. Должно быть, Призрак заметил его состояние, ибо он приостановился на мгновение, как бы для того, чтобы дать ему возможность прийти в себя.

Но Скруджу от этой передышки стало только хуже. Необъяснимый ужас пронизывал все его существо при мысли о том, что под прикрытием этого черного, мрачного савана взор Призрака неотступно следит за ним, в то время как сам он, сколько бы ни напрягал зрение, не может разглядеть ничего, кроме этой мертвенно-бледной руки и огромной черной бесформенной массы.

— Дух Будущих Святых! — воскликнул Скрудж. — Я боюсь тебя. Ни один из являвшихся мне призраков не пугал меня так, как ты. Но я знаю, что ты хочешь мне добра, а я стремлюсь к добру и надеюсь стать отныне другим человеком и потому готов с сердцем, исполненным благодарности следовать за тобой. Разве ты не хочешь сказать мне что-нибудь?

Призрак ничего не ответил. Рука его по-прежнему была простерта вперед.

— Веди меня! — сказал Скрудж. — Веди! Ночь быстро близится к рассвету, и каждая минута для меня драгоценна — я знаю это. Веди же меня, Призрак!

Привидение двинулось вперед так же безмолвно, как и появилось. Скрудж последовал за ним в тени его одеяния, которое как бы поддерживало его над землей и увлекало за собой.

Они вступили в город — вернее, город, казалось, внезапно сам вырос вокруг них и обступил их со всех сторон. И вот они уже очутились в центре города — на Бирже, в толпе коммерсантов, которые сновали туда и сюда и собирались группами, и поглядывали на часы, и позванивали монетами в кармане, и в раздумье перебирали массивные золотые брелоки, словом, все было, как всегда, — знакомая Скруджу картина.

Дух остановился возле небольшой кучки дельцов. Заметив, что рука Призрака указывает на них, Скрудж приблизился и стал прислушиваться к их разговору.

— Нет, — сказал огромный тучный мужчина с чудовищным тройным подбородком. — Об этом мне ничего не известно. Знаю только, что он умер.

— Когда же это случилось? — спросил кто-то.

— Да как будто прошедшей ночью.

— А что с ним было? — спросил третий, беря изрядную понюшку табаку из огромной табакерки. — Мне казалось, он всех переживет.

— А бог его знает, — промолвил первый и зевнул.

— Что же он сделал со своими деньгами? — спросил краснолицый господин, у которого с самого кончика носа свисал нарост, как у индюка.

— Не слыхал, не знаю, — отвечал человек с тройным подбородком и снова зевнул.

— Оставил их своей фирме, должно быть. Мне он их не оставил. Это-то уж я знаю доподлинно. Шутка была встречена общим смехом.

— Похоже, пышных похорон не будет, — продолжал человек с подбородком. — Пропади я пропадом, если кто-нибудь придет его хоронить. Может, нам собраться компанией и показать пример?

— Что ж, если будут поминки, я не прочь, — отозвался джентльмен с наростом на носу. — За такой труд не грех и покормить.

Снова смех.

— Я, видать, бескорыстнее всех вас, — сказал человек с подбородком, — так как никогда не надеваю черных перчаток и никогда не завтракаю второй раз, но тем не менее готов пойти, если кто-нибудь присоединится. Ведь рассудить, так я, пожалуй, был самым близким его приятелем. Как-никак, а при встречах мы всегда останавливались потолковать. Ну, до завтра, господа.

Собеседники разошлись в разные стороны и смешались с другими группами дельцов, а Скрудж, который знал всех этих людей, вопросительно посмотрел на Духа, ожидая от него объяснения.

Призрак двинулся к выходу. Перст его указывал на улицу, где только что повстречались двое людей. Скрудж прислушался к их беседе, полагая, что здесь он найдет, наконец, объяснение всему.

Этих людей он тоже знал как нельзя лучше. Оба были дельцами, весьма богатыми и весьма влиятельными. Скрудж всегда очень дорожил их мнением о себе. С деловой точки зрения, разумеется. Исключительно с деловой точки зрения.

— Добрый день, — сказал один.

— Добрый день, — отвечал другой.

— Слыхали? — сказал первый. — Он попал-таки, наконец, черту в лапы.

— Да, слышал, — отвечал другой. — Каков мороз!

— Самый рождественский. Вы не любитель покататься на коньках?

— Нет, нет. Мало у меня без того забот! Мое почтение!

Вот и все, ни слова больше. Встретились, потолковали и разошлись.

Поначалу Скрудж был несколько удивлен, что Дух может придавать значение такой пустой на первый взгляд беседе, но потом решил, что в словах этих людей заключен какой-то скрытый смысл, и принялся размышлять, что же это такое. Разговоры эти едва ли могли иметь отношение к смерти Джейкоба, его старого компаньона, так как то было делом Прошлого, а областью Духа было Будущее. Но о ком же они толковали? У него же нет ни близких, ни друзей. Однако, ни секунды не сомневаясь, что в этих речах заложен глубокий нравственный смысл, направленный на его благо, Скрудж решил сберечь в памяти своей, как драгоценнейший клад, все, что приведется ему увидеть или услышать, а прежде всего внимательно наблюдать за своим двойником, когда тот появится. Его собственное поведение в будущем даст, казалось ему, ключ ко всему происходящему и поможет разгадать все загадки.

Скрудж снова заглянул на Биржу, ища здесь своего двойника, но на его обычном месте стоял какой-то незнакомый человек. В этот час Скруджу полагалось уже быть на Бирже, однако он не нашел себя ни там, ни в толпе, теснившейся у входа. Впрочем, это не очень его удивило. Он увидел в этом лишь доказательство того, что принятое им в душе решение — совершенно изменить свой образ жизни — осуществилось.

Черной безмолвной тенью стоял рядом с ним Призрак с простертой вперед рукой. Очнувшись от своих раздумий, Скрудж заметил, что рука Призрака протянута к нему, а Невидимый Взор, — как ему почудилось, — пронизывает его насквозь. Скрудж содрогнулся и почувствовал, что кровь леденеет у него в жилах.

Покинув это оживленное место, они углубились в глухой район трущоб, куда Скрудж никогда прежде не заглядывал, хотя знал, где расположен этот квартал и какой дурной пользуется он славой. Узкие, грязные улочки; жалкие домишки и лавчонки; едва прикрытый зловонным тряпьем, пьяный, отталкивающий в своем убожестве люд. Глухие переулки, подворотни,

словно стоки нечистот, извергали в лабиринт кривых улиц свою вонь, свою грязь, свой блуд, и весь квартал смердел пороком, преступлениями, нищетой.

В самой гуще этих притонов и трущоб стояла лавка старьевщика — низкая и словно придавленная к земле односкатной крышей. Здесь за гроши скупали тряпки, старые жестянки, бутылки, кости и прочую ветошь и хлам. На полу лавчонки были свалены в кучу ржавые гвозди, ключи, куски дверных цепочек, задвижки, чашки от весов, сломанные пилы, гири и разный другой железный лом. Кучи подозрительного тряпья, комья тухлого сала, груды костей скрывали, казалось, темные тайны, в которые мало кому пришла бы охота проникнуть. И среди всех этих отбросов, служивших предметом купли-продажи, возле сложенной из старого кирпича печурки, где догорали угли, сидел седой мошенник, довольно преклонного возраста. Отгородившись от внешнего мира с его зимней стужей при помощи занавески из полуистлевших лохмотьев, развешенных на веревке, он удовлетворенно посасывал трубку и наслаждался покоем в тиши своего уединения.

Когда Скрудж, ведомый Призраком, приблизился к этому человеку, какая-то женщина с объемистым узлом в руках крадучись шмыгнула в лавку. Но едва она переступила порог, как в дверях показалась другая женщина тоже с какой-то поклажей, а следом за ней в лавку вошел мужчина в порыжелой черной паре, и все трое были в равной мере поражены, узнав друг друга. С минуту длилось общее безмолвное изумление, которое разделил и старьевщик, посасывавший свою трубку. Затем трое пришедших разразились смехом.

— Уж будьте покойны, поденщица всегда поспеет первой! — воскликнула та, что опередила остальных. — Ну а прачка уж будет второй, а посыльный гробовщика — третьим. Смотри-ка, старина Джо, какой случай! Ведь не сговариваясь сошлись, видал?

— Что ж, лучшего места для встречи вам бы и не сыскать, — отвечал старик Джо, вынимая трубку изо рта. — Проходите в гостиную. Ты-то,

голубушка, уж давно свой человек здесь, да и эти двое тоже не чужие. Погодите, я сейчас притворю дверь. Ишь ты! Как скрипит! Во всей лавке, верно, не сыщется куска такого старого ржавого железа, как эти петли, и таких старых костей, как мои. Ха-ха-ха! Здесь все одно другого стоит, всем нам пора на свалку. Проходите в гостиную! Проводите в гостиную!

Гостиной называлась часть комнаты, за тряпичной занавеской. Старик сгрэб угли в кучу старым металлическим прутом от лестничного ковра, мундштуком трубки снял нагар с чадившей лампы (время было уже позднее) и снова сунул трубку в рот.

Тем временем женщина, которая пришла первой, швырнула свой узел на пол, с нахальным видом плюхнулась на табуретку, уперлась кулаками в колени и вызывающе поглядела на тех, кто пришел после нее.

— Ну, в чем дело? Чего это вы уставились на меня, миссис Дилбер? — сказала она. — Каждый вправе позаботиться о себе. Он-то это умел.

— Что верно, то верно, — сказала прачка. — И никто не умел так, как он.

— А коли так, чего же ты стоишь и тарачишь глаза, словно кого-то боишься? Никто же не узнает. Ворон ворону глаз не выклюет.

— Да уж, верно, нет! — сказали в один голос миссис Дилбер и мужчина. — Уж это так.

— Вот и ладно! — вскричала поденщица. — И хватит об этом. Подумаешь, велика беда, если они там недосчитаются двух-трех вещичек вроде этих вот. Покойника от этого не убудет, думается мне.

— И в самом деле, — смеясь, поддакнула миссис Дилбер.

— Ежели этот старый скряга хотел, чтобы все у него осталось в целостности-сохранности, когда он отдаст богу душу, — продолжала поденщица, — почему он не жил как все люди? Живи он по-людски, уж, верно, кто-нибудь приглядел бы за ним в его смертный час, и не подох бы он так — один-одинешенек.

— Истинная правда! — сказала миссис Дилбер. — Это ему наказание за грехи.

— Эх, жалко, наказали-то мы его мало, — отвечала та. — Да, кабы можно было побольше его наказать, уж я бы охулки на руку не положила, верьте слову. Ну, ладно, развяжите-ка этот узел, дядюшка Джо, и назовите вашу цену. Говорите начистоту. Я ничего не боюсь — первая покажу свое добро. И этих не боюсь — пусть смотрят. Будто мы и раньше не знали, что каждый из нас прибирает к рукам, что может. Только я в этом греха не вижу. Развязывайте узел, Джо.

Но благородные ее друзья не пожелали уступить ей в отваге, и мужчина в порыжелом черном сюртуке храбро ринулся в бой и первым предъявил свою добычу. Она была невелика. Два-три брелока, вставочка для карандаша, пара запонок да дешевенькая булавка для галстука — вот, в сущности, и все. Старикашка Джо обследовал все эти предметы один за другим, оценил, проставил стоимость каждого мелом на стене и видя, что больше ждать нечего, подвел итог.

— Вот сколько вы получите, — сказал старьевщик, — и ни пенса больше, пусть меня сожгут живьем. Кто следующий?

Следующей оказалась миссис Дилбер. Она предъявила простыни и полотенца, кое-что из одежды, две старомодные серебряные ложечки, щипчики для сахара и несколько пар старых сапог. Все это также получило свою оценку мелом на стене.

— Дамам я всегда переплачиваю, — сказал старикашка. — Это моя слабость. Таким-то манером я и разоряюсь. Вот сколько вам следует. Если попросите накинуть еще хоть пенни и станете торговаться, я пожалею, что был так щедр, и сбавлю полкроны.

— А теперь развяжите мой узел, Джо, — сказано поденщица.

Старикашка опустился на колени, чтобы удобнее было орудовать, и, распутав множество узелков, извлек довольно большой и тяжелый сверток какой-то темной материи.

— Что это такое? — спросил старьевщик. — Никак полог?

— Ну да, — со смехом отвечала женщина, покачиваясь на табурете. —
Полог от кровати.

— Да неужто ты сняла всю эту штуку — всю, как есть, вместе с
кольцами, — когда он еще лежал там?

— Само собой, сняла, — отвечала женщина. — А что такого?

— Ну, голубушка, тебе на роду написано нажать капитал, — заметил
старьевщик. — И ты его наживешь.

— Скажите на милость, уж не ради ли этого скряги стану я отказываться
от добра, которое плохо лежит, — невозмутимо отвечала женщина. — Не
беспокойтесь, не на такую напали. Гляди, старик, не закапай одеяло жиром.

— Это его одеяло? — спросил старьевщик.

— А чье же еще? — отвечала женщина. — Теперь небось и без одеяла
не простудится!

— А отчего он умер? Уж не от заразы ли какой? — спросил старик и,
бросив разбирать вещи, поднял глаза на женщину.

— Не бойся, — отвечала та. — Не так уж приятно было возиться с ним,
а когда б он был еще и заразный, разве бы я стала из-за такого хлама. Эй,
смотри, глаза не прогляди. Да можешь пялить их на эту сорочку, пока они не
лопнут, тут не только что дырочки — ни одной обтрепанной петли не
сыщется. Самая лучшая его сорочка. Из тонкого полотна. А кабы не я, так бы
зря и пропала.

— Как это пропала? — спросил старьевщик.

— Да ведь напялили на него и чуть было в ней не похоронили, — со
смехом отвечала женщина. — Не знаю, какой дурак это сделал, ну а я взяла
да и сняла. Уж если простой коленкор и для погребения не годится, так на
какую же его делают потребу? Нет, для него это в самый раз. Гаже все равно
не станет, во что ни обряди.

Скрудж в ужасе прислушивался к ее словам. Он смотрел на этих людей,
собравшихся вокруг награбленного добра при скудном свете лампы, и

испытывал такое негодование и омерзение, словно присутствовал при том, как свора непотребных демонов торгуется из-за трупа.

— Ха-ха-ха! — рассмеялась поденщица, когда старикашка Джо достал фланелевый мешочек, отсчитал несколько монет и разложил их кучками на полу — каждому его долю. — Вот как все вышло! Видали? Пока был жив, он всех от себя отваживал, будто нарочно, чтоб мы могли пожить на нем, когда он упокоится. Ха-ха-ха!

— Дух! — промолвил Скрудж, дрожа с головы до пят. — Я понял, понял! Участь этого несчастного могла быть и моей участью. Все шло к тому... Боже милостивый, это еще что?

Он отпрянул в неизъяснимом страхе, ибо все изменилось вокруг и теперь он стоял у изголовья чьей-то кровати, едва не касаясь ее рукой. Стоял возле неприбранной кровати без полога, на которой под рваной простыней лежал кто-то, хотя и безгласный, но возвещавший о своей судьбе ледящим душу языком.

В комнате было темно, слишком темно, чтобы что-нибудь разглядеть, хотя Скрудж, повинувшись какому-то внутреннему побуждению, и озирался по сторонам, стараясь понять, где он находится. Только слабый луч света, проникавший откуда-то извне, падал прямо на кровать, где ограбленный, обездоленный, необмытый, неоплаканный, покинутый всеми — покоился мертвец.

Скрудж взглянул на Духа. Его неподвижная рука указывала на голову покойника. Простыня была так небрежно наброшена на труп, что Скруджу стоило чуть приподнять край — только пальцем пошевелить, — и он увидел бы лицо. Скрудж понимал это, жаждал это сделать, знал, как это легко, но был бессилен откинуть простыню — так же бессилен, как и освободиться от Призрака, стоящего за его спиной.

О Смерть, Смерть, холодная, жестокая, неумолимая Смерть! Воздвигни здесь свой престол и окружи его всеми ужасами, коими ты повелеваешь, ибо здесь твои владения! Но если этот человек был любим и почитаем при жизни,

тогда над ним не властна твоя злая сила, и в глазах тех, кто любил его, тебе не удастся исказить ни единой черты его лица! Пусть рука его теперь тяжела и падает бессильно, пусть умолкло сердце и кровь остыла в жилах, — но эта рука была щедра, честна и надежна, это сердце было отважно, нежно и горячо, и в этих жилах текла кровь человека, а не зверя. Рази, Тень, рази! И ты увидишь, как добрые его деяния — семена жизни вечной — восстанут из отверстой раны и переживут того, кто их творил!

Кто произнес эти слова? Никто. Однако они явственно прозвучали в ушах Скруджа, когда он стоял перед покойником. И Скрудж подумал: если бы этот человек мог встать сейчас со своего ложа, что первое ожило бы в его душе? Алчность, жажда наживы, испепеляющие сердце заботы? Да, поистине славную кончину они ему уготовили!

Вот он лежит в темном пустом доме, и нет на всем свете человека — ни мужчины, ни женщины, ни ребенка — никого, кто мог бы сказать: «Этот человек был добр ко мне, и в память того, что как-то раз он сказал мне доброе слово, я теперь позабочусь о нем». Только кошка скребется за дверью, заслышав, как пищат под шестком крысы, пытаясь прогрызть себе лазейку. Что влечет этих тварей в убежище смерти, почему подняли они такую возню? Скрудж боялся об этом даже подумать.

— Дух! — сказал он. — Мне страшно. Верь мне — даже покинув это место, я все равно навсегда сохраню в памяти урок, который я здесь получил. Уйдем отсюда!

Но неподвижная рука по-прежнему указывала на изголовье кровати.

— Я понимаю тебя, — сказал Скрудж. — И я бы сделал это, если б мог. Но я не в силах, Дух. Не в силах!

И снова ему почудилось, что Призрак вперил в него взгляд.

— Если есть в этом городе хоть одна душа, которую эта смерть не оставит равнодушной, — вне себя от муки вскричал Скрудж, — покажи мне ее, Дух, молю тебя!

Черный плащ Призрака распростерся перед ним наподобие крыла, а когда он опустился, глазам Скруджа открылась освещенная солнцем комната, в которой находилась мать с детьми.

Мать, видимо, кого то ждала — с тревогой, с нетерпением. Она ходила из угла в угол, вздрагивая при каждом стуке, поглядывала то на часы, то в окно, бралась за шитье и тотчас его бросала, и видно было, как донимают ее возгласы ребятишек, увлеченных игрой. Наконец раздался долгожданный стук, и она бросилась отворить дверь. Вошел муж. Он был еще молод, но истомленное заботой лицо его говорило о перенесенных невзгодах. Впрочем, сейчас оно хранило какое-то необычное выражение: казалось, он чему-то рад и вместе с тем смущен и тщетно пытается умерить эту радость.

Он сел за стол — обед уже давно ждал его у камина, — и когда жена после довольно длительного молчания нерешительно спросила его, какие новости, этот вопрос окончательно привел его в замешательство.

— Скажи только — хорошие или дурные? — спросила она снова, стараясь прийти ему на помощь.

— Дурные, — последовал ответ.

— Мы разорены?

— Нет, Кэрелайн, есть еще надежда.

— Да ведь это, если он смягчится! — недоумевающе ответила она. — Конечно, если такое чудо возможно, тогда еще не все потеряно.

— Смягчиться уже не в его власти, — отвечал муж. — Он умер.

Если внешность его жены не была обманчива, — то это было кроткое, терпеливое создание. Однако, услышав слова мужа, она возблагодарила в душе судьбу и, всплеснув руками, открыто выразила свою радость. В следующую секунду она уже устыдилась своего порыва и пожалела о нем, но все же таково было первое движение ее сердца.

— Выходит, эта полупьяная особа сообщила мне истинную правду вчера, когда я пытался проникнуть к нему и получить отсрочку на неделю, — помнишь, я рассказывал тебе. Я-то думал, что это просто отговорка, чтобы

отделаться от меня. Но оказывается, он и в самом деле был тяжко болен. Более того — он умирал!

— Кому же должны мы теперь выплачивать долг?

— Не знаю. Во всяком случае, теперь мы успеем как-нибудь обернуться. А если и не успеем, то не может быть, чтобы наследник оказался столь же безжалостным кредитором, как покойный. Это была бы неслыханная неудача. Нет, мы можем сегодня заснуть спокойно, Кэрелайн!

Да, как бы ни пытались они умерить свою радость, у них отлегло от сердца. И у детей, которые, сбившись в кучку возле родителей, молча прислушивались к малопонятным для них речам, личики тоже невольно просветлели. Смерть человека принесла счастье в этот дом — вот что показал Дух Скруджу.

— Покажи мне другие, более добрые чувства, Дух, которые пробудила в людях эта смерть, — взмолился Скрудж, — или эта темная комната будет всегда неотступно стоять перед моими глазами.

И Дух повел Скруджа по улицам, где каждый булыжник был ему знаком, и по пути Скрудж все озирался по сторонам в надежде увидеть своего двойника, но так и не увидел его. И вот они вступили в убогое жилище Боба Крэтчита, которое Скруджу уже удалось посетить однажды, и увидели мать и детей, сидевших у очага.

Тишина. Глубокая тишина. Шумные маленькие Крэтчиты, сидят в углу безмолвные и неподвижные, как изваяния. Взгляд их прикован к Питеру, который держит в руках раскрытую книгу. Мать и дочь заняты шитьем. Но как они все молчаливы!

— И взяв дитя, поставил его посреди них!

Где Скрудж еще раньше слышал эти слова не в грезах, а наяву? А сейчас их, верно, прочел вслух Питер — в ту минуту, когда Скрудж и Дух переступали порог. Почему же он замолчал?

Мать положила шитье на стол и прикрыла глаза рукой.

— От черного глаза ломит, — сказала она.

— От черного?! Ах, бедный, бедный, Малютка Тим!

— Вот уже и полегчало, — сказала миссис Крэтчит. — Глаза слезятся от работы при свечах. Не хватало еще, чтобы ваш отец застал меня с красными глазами. Кажется, ему пора бы уже быть дома.

— Давно пора, — сказал Питер, захлопывая книгу. — Но знаешь, мама, последние дни он стал ходить как-то потише, чем всегда. Все снова примолкли. Наконец мать сказала спокойным, ровным голосом, который всего лишь раз чуть-чуть дрогнул.

— А помнится, как быстро он ходил с Малюткой Тимом на плече.

— Да, и я помню! — вскричал Питер. — Я часто видел.

— И я видел! — воскликнул один из маленьких Крэтчитов, и дочери тоже это подтвердили.

— Да ведь он был как перышко! — продолжала мать, низко склонившись над шитьем. — А отец так его любил, что для него это совсем не составляло труда. А вот и он сам!

Она поспешила к мужу навстречу, и маленький Боб в своем неизменном шарфе — без него он бы продрог до костей, бедняга! — вошел в комнату. Чайник с чаем уже дожидался хозяина на очаге, и все наперебой стали наливать ему чай и ухаживать за ним. Затем двое маленьких Крэтчитов взобрались к отцу на колени, и каждый прижался щечкой к его щеке, как бы говоря: «Не печалься, папа! Не надо!»

Боб весело болтал с ребятами и обменивался ласковыми словами со всеми членами своего семейства. Заметив лежавшее на столе шитье, он похвалил миссис Крэтчит и дочерей за прилежание и сноровку. Они закончат все куда раньше воскресенья, заметил он.

— Воскресенья? — А ты был там сегодня, Роберт? — спросила жена.

— Да, моя дорогая, — отвечал Боб. — И жалею, что ты не могла пойти. Тебе было бы отрадно поглядеть, как там все зелено. Но ты же будешь часто его навещать. А я обещал ему ходить туда каждое воскресенье. Сыночек мой, сыночек! — внезапно вскричал Боб. — Маленький мой! Крошка моя!

Слезы хлынули у него из глаз. Он не мог их сдержать. Слишком уж он любил сынишку, чтобы совладать с собой.

Он поднялся наверх — в ярко и весело освещенную комнату, разубранную зелеными ветвями остролиста. Возле постели ребенка стоял стул, и по всему видно было, что кто-то, быть может всего минуту назад, был здесь, сидел у этой кровати... Бедняга Боб тоже присел на стул, посидел немного, погруженный в думу, и когда ему удалось справиться со своей скорбью, поцеловал маленькое личико. Он спустился вниз умиротворенный, покоровшийся неизбежности.

Опять все собрались у огня, и потекла беседа. Мать и дочери снова взялись за шитье. Боб принялся рассказывать им о необыкновенной доброте племянника Скруджа, который и видел-то его всего-навсего один-единственный раз, но тем не менее сегодня, встретившись с ним на улице и заметив, что он немного расстроен, — ну просто самую малость приуныл, пояснил Боб, — стал участливо расспрашивать, что его так огорчило.

— Более приятного, обходительного господина я еще в жизни не встречал, — сказал Боб. — Ну, я тут же все ему и рассказал. «От всего сердца соболезную вам, мистер Крэтчит, — сказал он. — И вам и вашей доброй супруге». Кстати, откуда он это-то мог узнать, не понимаю.

— Что «это», мой дорогой?

— Да вот — что ты добрая супруга, — отвечал Боб.

— Кто ж этого не знает! — вскричал Питер.

— Правильно, сынок, — сказал Боб. — Все знают, думается мне. «От всего сердца соболезную вашей доброй супруге, — сказал он. — Если я могу хоть чем-нибудь быть вам полезен, прошу вас, приходите ко мне, вот мой адрес», — сказал он и дал мне свою визитную карточку!

— И дело даже не в том, что он может чем-то нам помочь, — продолжал Боб, — Дело в том, что он был так добр, — вот что замечательно! Ну, прямо, будто он знал нашего Малютку Тима и горюет вместе с нами.

— По всему видно, что это добрая душа, — заметила миссис Крэтчят.

— А если б ты его видела, моя дорогая, да поговорила с ним, что бы ты тогда сказала! — отвечал Боб. — Я ничуть не удивлюсь, если он пристроит Питера на какое-нибудь хорошее местечко, помани мое слово.

— Ты слышишь, Питер! — сказала миссис Крэтчит.

— А тогда, — воскликнула одна из девочек, — Питер найдет себе невесту и обзаведется своим домом.

— Отвяжись, — ухмыльнулся Питер.

— Конечно, со временем это может случиться, моя дорогая, — сказал Боб. — Однако спешить, мне кажется, некуда. Но когда бы и как бы мы ни разлучились друг с другом, я уверен, что никто из нас не забудет нашего бедного Малютку Тима... не так ли? Не забудет этой первой разлуки в нашей семье.

— Никогда, отец! — воскликнули все в один голос.

— И я знаю, — продолжал Боб, — знаю, мои дорогие, что мы всегда будем помнить, как кроток и терпелив был всегда наш дорогой Малютка, и никогда не станем ссориться — ведь это значило бы действительно забыть его!

— Никогда, никогда, отец! — снова последовал дружный ответ.

— Я счастлив, когда слышу это, — сказал Боб. — Я очень счастлив.

Тут миссис Крэтчит поцеловала мужа, а за ней — и обе старшие дочери, а за ними — и оба малыша, а Питер потряс отцу руку. Малютка Тим! В твоей младенческой душе тлела святая господня искра!

— Дух, — сказал Скрудж. — Что-то говорит мне, что час нашего расставанья близок. Я знаю это, хотя мне и неизвестно — откуда. Скажи, кто был этот усопший человек, которого мы видели?

Дух Будущих Святых снова повлек его дальше и, как показалось Скруджу, перенес в какое-то иное время (впрочем, последние видения сменяли друг друга без всякой видимой связи и порядка — их объединяло лишь то, что все они принадлежали будущему) и привел в район деловых контор, но и тут Скрудж не увидел себя. А Дух все продолжал увлекать его

дальше, как бы к некоей твердо намеченной цели, пока Скрудж не взмолился, прося его помедлить немного.

— В этом дворе, через который мы так поспешно проходим, — сказал Скрудж, — находится моя контора. Я работаю тут уже много лет. Вон она. — Покажи же мне, что ждет меня впереди!

Дух приостановился, но рука его была простерта в другом направлении.

— Этот дом здесь! — воскликнул Скрудж. — Почему же ты указываешь в другую сторону, Дух?

Неумолимый перст не дрогнул.

Скрудж торопливо шагнул к окну своей конторы и заглянул внутрь. Да, это по-прежнему была контора — только не его. Обстановка стала другой, и в кресле сидел не он. А рука Призрака все также указывала куда-то вдаль.

Скрудж снова присоединился к Призраку и, недоумевая — куда же он сам-то мог подеваться? — последовал за ним. Наконец они достигли какой-то чугунной ограды. Прежде чем ступить за эту ограду, Скрудж огляделся по сторонам.

Кладбище. Так вот где, должно быть, покоятся останки несчастного, чье имя предстоит ему, наконец, узнать. Нечего сказать, подходящее для него место упокоения! Тесное — могила к могиле, — сжатое со всех сторон домами, заросшее сорной травой — жирной, впитавшей в себя не жизненные соки, а трупную гниль. Славное местечко!

Призрак остановился среди могил и указал на одну из них. Скрудж, трепеща, шагнул к ней. Ничто не изменилось в обличье Призрака, но Скрудж с ужасом почувствовал, что какой-то новый смысл открывается ему в этой величавой фигуре.

— Прежде чем я ступлю последний шаг к этой могильной плите, на которую ты указуешь, — сказал Скрудж, — ответь мне на один вопрос, Дух. Предстали ли мне призраки того, что будет, или призраки того, что может быть?

Но Дух все также безмолвствовал, а рука его указывала на могилу, у которой он остановился.

— Жизненный путь человека, если неуклонно ему следовать, ведет к предопределенному концу, — произнес Скрудж. — Но если человек сойдет с этого пути, то и конец будет другим. Скажи, ведь так же может измениться и то, что ты показываешь мне сейчас?

Но Призрак по-прежнему был безмолвен и неподвижен.

Дрожь пробрала Скруджа с головы до пят. На коленях он подполз к могиле и, следуя взглядом за указующим перстом Призрака, прочел на заросшей травой каменной плите свое собственное имя: ЭБИНИЗЕР СКРУДЖ.

— Так это был я — тот, кого видели мы на смертном одре? — возопил он, стоя на коленях.

Рука Призрака указала на него и снова на могилу.

— Нет, нет, Дух! О нет!

Рука оставалась неподвижной.

— Дух! — вскричал Скрудж, цепляясь за его подол. — Выслушай меня! Я уже не тот человек, каким был. И я уже не буду таким, каким стал бы, не доведись мне встретиться с тобой. Зачем показываешь ты мне все это если нет для меня спасения!

В первый раз за все время рука Призрака чуть приметно дрогнула.

— Добрый Дух, — продолжал молить его Скрудж, распростершись перед ним на земле. — Ты жалеешь меня, самая твоя природа побуждает тебя к милосердию. Скажи же, что, изменив свою жизнь, я могу еще спастись от участи, которая мне уготована.

Благостная рука затрепетала.

— Я буду чтить рождество в сердце своем и хранить память о нем весь год. Я искуплю свое Прошлое Настоящим и Будущим, и воспоминание о трех Духах всегда будет живо во мне. Я не забуду их памятных уроков, не

затворю своего сердца для них. О, скажи, что я могу стереть надпись с этой могильной плиты!

И Скрудж в беспредельной муке схватил руку Призрака. Призрак сделал попытку освободиться, но отчаяние придало Скруджу силы, и он крепко вцепился в руку. Все же Призрак оказался сильнее и оттолкнул Скруджа от себя.

Воздев руки в последней мольбе, Скрудж снова воззвал к Духу, чтобы он изменил его участь, и вдруг заметил, что в обличье Духа произошла перемена. Его капюшон и мантия сморщились, обвисли, весь он съежился и превратился в резную колонку кровати.

Строфа пятая. Заключение

Да! И это была колонка его собственной кровати, и комната была тоже его собственная. А лучше всего и замечательнее всего было то, что и Будущее принадлежало ему и он мог еще изменить свою судьбу.

— Я искуплю свое Прошлое Настоящим и Будущим! — повторил Скрудж, проворно вылезая из постели. — И память о трех Духах будет вечно жить во мне! О Джейкоб Марли! Возблагодарим же Небо и светлый праздник рождества! На коленях возношу я им хвалу, старина Джейкоб! На коленях!

Он так горел желанием осуществить свои добрые намерения и так был взволнован, что голос не повиновался ему, а лицо все еще было мокро от слез, ибо он рыдал навзрыд, когда старался умиловить Духа.

— Он здесь! — кричал Скрудж, хватаясь за полог и прижимая его к груди. — Он здесь, и кольца здесь, и никто его не срывал! Все здесь... и я здесь... и да сгинут призраки того, что могло быть! И они сгинут, я знаю! Они сгинут!

Говоря так, он возился со своей одеждой, выворачивал ее наизнанку, надевал задом наперед, совал руку не в тот рукав, и ногу не в ту штанину, — словом, проделывал в волнении кучу всяких несообразностей.

— Сам не знаю, что со мной творится! — вскричал он, плача и смеясь и с помощью обвившихся вокруг него чулок превращаясь в некое подобие Лаокоона. — Мне так легко, словно я пушинка, так радостно, словно я ангел, так весело, словно я школьник! А голова идет кругом, как у пьяного! Поздравляю с рождеством, с веселыми святками всех, всех! Желаю счастья в Новом году всем, всем на свете! Гоп-ля-ля! Гоп-ля-ля! Ура! Ура! Ой-ля-ля!

Он резво ринулся в гостиную и остановился, запыхавшись.

— Вот и кастрюлька, в которой была овсянка! — воскликнул он и снова забегал по комнате. — А вот через эту дверь проникла сюда Тень Джейкоба Марли! А в этом углу сидел Дух Нынешних Святков! А за этим окном я видел летающие души. Все так, все на месте, и все это было, было! Ха-ха-ха!

Ничего не скажешь это был превосходный смех, смех, что надо, — особенно для человека, который давно уже разучился смеяться. И ведь это было только начало, только предвестие еще многих минут такого же радостного, веселого, задушевного смеха.

— Какой же сегодня день, какое число? — спросил Скрудж. — Не знаю, как долго пробыл я среди Духов. Не знаю. Я ничего не знаю. Я как новорожденное дитя. Пусть! Не беда. Оно и лучше — быть младенцем. Гоп-ля-ля! Гоп-ля-ля! Ура! Ой-ля-ля!

Его ликующие возгласы прервал церковный благовест. О, как весело звонили колокола! Динь-динь-бом! Динь-динь-бом! Дили-дили-дили! Дили-дили-дили! Бом-бом-бом! О, как чудесно! Как дивно, дивно!

Подбежав к окну, Скрудж поднял раму и высунулся наружу. Ни мглы, ни тумана! Ясный, погожий день. Колкий, бодрящий мороз. Он свистит в свою ледяную дудочку и заставляет кровь, приплясывая, бежать по жилам. Золотое солнце! Лазурное небо! Прозрачный свежий воздух! Веселый перезвон колоколов! О, как чудесно! Как дивно, дивно!

— Какой нынче день? — свесившись вниз, крикнул Скрудж какому-то мальчишке, который, вырядившись, как на праздник, торчал у него под окнами и глазел по сторонам.

— ЧЕГО? — в неопишемом изумлении спросил мальчишка.

— Какой у нас нынче день, милый мальчуган? — повторил Скрудж.

— Нынче? — снова изумился мальчишка. — Да ведь нынче РОЖДЕСТВО!

«Рождество! — подумал Скрудж. — Так я не пропустил праздника! Духи свершили все это в одну ночь. Они все могут, стоит им захотеть. Разумеется, могут. Разумеется».

— Послушай, милый мальчик!

— Эге? — отозвался мальчишка.

— Ты знаешь курятную лавку, через квартал отсюда, на углу? — спросил Скрудж.

— Ну как не знать! — отвечал тот.

— Какой умный ребенок! — восхитился Скрудж. — Изумительный ребенок! А не знаешь ли ты, продали они уже индюшку, что висела у них в окне? Не маленькую индюшку, а большую, премированную?

— Самую большую, с меня ростом?

— Какой поразительный ребенок! — воскликнул Скрудж. — Поговорить с таким одно удовольствие. Да, да, самую большую, постреленок ты этакий!

— Она и сейчас там висит, — сообщил мальчишка.

— Висит? — сказал Скрудж. — Так сбегай купи ее.

— Пошел ты! — буркнул мальчишка.

— Нет, нет, я не шучу, — заверил его Скрудж. — Поди купи ее и вели принести сюда, а я скажу им, куда ее доставить. Приведи сюда приказчика и получишь от меня шиллинг. А если обернешься в пять минут, получишь полкроны!

Мальчишка полетел стрелой, и, верно, искусна была рука, спустившая эту стрелу с тетивы, ибо она не потеряла даром ни секунды.

— Я пошлю индюшку Бобу Крэтчиту! — пробормотал Скрудж и от восторга так и покатился со смеху. — То-то он будет голову ломать — кто

это ему прислал. Индюшка-то, пожалуй, вдвое больше крошки Тима. Даже Джо Миллеру никогда бы не придумать такой штуки, — послать индюшку Бобу!

Перо плохо слушалось его, но он все же нацарапал кое-как адрес и спустился вниз, — отпереть входную дверь. Он стоял, поджидая приказчика, и тут взгляд его упал на дверной молоток.

— Я буду любить его до конца дней моих! — вскричал Скрудж, поглаживая молоток рукой. — А ведь я и не смотрел на него прежде. Какое у него честное, открытое лицо! Чудесный молоток! А вот и индюшка! Ура! Гоп-ля-ля! Мое почтение! С праздником!

Ну и индюшка же это была — всем индюшкам индюшка! Сомнительно, чтобы эта птица могла когда-нибудь держаться на ногах — они бы подломились под ее тяжестью, как две соломинки.

— Ну нет, вам ее не дотащить до Кемден-Тауна, — сказал Скрудж. — Придется нанять кэб.

Он говорил это, довольно посмеиваясь, и, довольно посмеиваясь, уплатил за индюшку, и, довольно посмеиваясь, заплатил за кэб, и, довольно посмеиваясь, расплатился с мальчишкой и, довольно посмеиваясь, опустился, запыхавшись, в кресло и продолжал смеяться, пока слезы не потекли у него по щекам.

Побриться оказалось нелегкой задачей, так как руки у него все еще сильно тряслись, а бритве требует сугубой осторожности, даже если вы не позволяете себе пританцовывать во время этого занятия. Впрочем, отхвати Скрудж себе кончик носа, он преспокойно залепил бы рану пластырем и остался бы и тут вполне всем доволен.

Наконец, приодевшись по-праздничному, он вышел из дому. По улицам уже валом валил народ — совсем как в то рождественское утро, которое Скрудж провел с Духом Нынешних Святых, и, заложив руки за спину, Скрудж шагал по улице, сияющей улыбкой приветствуя каждого встречного.

И такой был у него счастливый, располагающий к себе вид, что двое-трое прохожих, дружелюбно улыбнувшись в ответ, сказали ему:

— Доброе утро, сэр! С праздником вас!

И Скрудж не раз говаривал потом, что слова эти прозвучали в его ушах райской музыкой.

Не успел он отдалиться от дому, как увидел, что навстречу ему идет дородный господин — тот самый, что, зайдя к нему в контору в сочельник вечером, спросил:

— Скрудж и Марли, если не ошибаюсь?

У него упало сердце при мысли о том, каким взглядом подарит его этот почтенный старец, когда они сойдутся, но он знал, что не должен уклоняться от предначертанного ему пути.

— Приветствую вас, дорогой сэр, — сказал Скрудж, убыстряя шаг и протягивая обе руки старому джентльмену. — Надеюсь, вы успешно завершили вчера ваше предприятие? Вы затеяли очень доброе дело. Поздравляю вас с праздником, сэр!

— Мистер Скрудж?

— Совершенно верно, — отвечал Скрудж. — Это имя, но боюсь, что оно звучит для вас не очень-то приятно. Позвольте попросить у вас прощения. И вы меня очень обяжете, если... — Тут Скрудж прошептал ему что-то на ухо. — Господи помилуй! — вскричал джентльмен, разинув рот от удивления. — Мой дорогой мистер Скрудж, вы шутите?

— Ни в коей мере, — сказал Скрудж. — И прошу вас, ни фартингом меньше. Поверьте я этим лишь оплачиваю часть своих старинных долгов. Можете вы оказать мне это одолжение?

— Дорогой сэр! — сказал тот, пожимая ему руку. — Я просто не знаю, как и благодарить вас, такая щедр...

— Прошу вас, ни слова больше, — прервал его Скрудж. — Доставьте мне удовольствие — зайдите меня проведать. Очень вас прошу.

— С радостью! — вскричал старый джентльмен, и не могло быть сомнения, что это говорилось от души.

— Благодарю вас, — сказал Скрудж. — Тысячу раз благодарю! Премного вам обязан. Дай вам бог здоровья!

Скрудж побывал в церкви, затем побродил по улицам. Он приглядывался к прохожим, спешившим мимо, гладил по головке детей, беседовал с нищими, заглядывал в окна квартир и в подвальные окна кухонь, и все, что он видел, наполняло его сердце радостью. Думал ли он когда-нибудь, что самая обычная прогулка — да и вообще что бы то ни было — может сделать его таким счастливым!

А когда стало смеркаться, он направил свои стопы к дому племянника.

Не раз и не два прошелся он мимо дома туда и обратно, не решаясь постучать в дверь. Наконец, собравшись с духом, поднялся на крыльцо.

— Дома хозяйин? — спросил он девушку, открывшую ему дверь. Какая милая девушка! Прекрасная девушка!

— Дома, сэр.

— А где он, моя прелесть? — спросил Скрудж.

— В столовой, сэр, и хозяйка тоже. Позвольте, я вас провожу.

— Благодарю. Ваш хозяйин меня знает, — сказал Скрудж, уже взявшись за ручку двери в столовую. — Я пройду сам, моя дорогая.

Он тихонько повернул ручку и просунул голову в дверь. Хозяева в эту минуту обзревали парадно накрытый обеденный стол. Молодые хозяева постоянно бывают исполнены беспокойства по поводу сервировки стола и готовы десятки раз проверять, все ли на месте.

— Фред! — позвал Скрудж.

Силы небесные, как вздрогнула племянница! Она сидела в углу, поставив ноги на скамеечку, и Скрудж совсем позабыл про нее в эту минуту, иначе он никогда и ни под каким видом не стал бы так ее пугать.

— С нами крестная сила! — вскричал Фред. — Кто это?

— Это я, твой дядюшка Скрудж. Я пришел к тебе пообедать. Ты примешь меня, Фред?

Примет ли он дядюшку! Да он на радостях едва не оторвал ему напрочь руку. Через пять минут Скрудж уже чувствовал себя как дома. Такого сердечного приема он еще отродясь не встречал.

Ах, какой это был чудесный вечер! И какие чудесные игры! И какое чудесное единодушие во всем! Какое счастье!

А наутро, чуть свет, Скрудж уже сидел у себя в конторе. О да, он пришел спозаранок. Он горел желанием попасть туда раньше Боба Крэтчита и уличить клерка в том, что он опоздал на работу. Скрудж просто мечтал об этом.

И это ему удалось! Да, удалось! Часы пробили девять. Боба нет. Четверть десятого. Боба нет. Он опоздал ровно на восемнадцать с половиной минут. Скрудж сидел за своей конторкой, настежь распахнув дверь, чтобы видеть, как Боб проскользнет в свой чуланчик.

Еще за дверью Боб стащил с головы шляпу и размотал свой теплый шарф. И вот он уже сидел на табурете и с такой быстротой скрипел по бумаге пером, словно хотел догнать и оставить позади ускользнувшие от него девять часов.

— А вот и вы! — проворчал Скрудж, подражая своему собственному вечному брюзжанию. — Как прикажете понять ваше появление на работе в этот час дня?

— Прошу прощения, сэр, — сказал Боб. — Я в самом деле немного опоздал!

— Ах, вот как! Вы опоздали? — подхватил Скрудж. — О да, мне тоже сдается, что вы опоздали. Будьте любезны, потрудитесь подойти сюда, сэр.

— Ведь это один-единственный раз за весь год, сэр, — жалобно проговорил Боб, выползая из своего чуланчика. — Больше этого не будет, сэр. Я позволил себе вчера немного повеселиться.

— Ну вот, что я вам скажу, приятель, — промолвил Скрудж. — Больше я этого не потерплю, а посему... — Тут он соскочил со стула и дал Бобу такого тумака под ложечку, что тот задом влетел обратно в свой чулан. — А посему, — продолжал Скрудж, — я намерен прибавить вам жалования!

Боб задрожал и украдкой потянулся к линейке. У него мелькнула было мысль оглушить Скруджа ударом по голове, скрутить ему руки за спиной, крикнуть караул и ждать, пока принесут смирительную рубашку.

— Поздравляю вас с праздником, Боб, — сказал Скрудж, хлопнув Боба по плечу, и на этот раз видно было, что он в полном разуме. — И желаю вам, Боб, дружище, хорошенько развлечься на этих святках, а то прежде вы по моей милости не очень-то веселились. Я прибавлю вам жалования и постараюсь что-нибудь сделать и для вашего семейства. Сегодня вечером мы потолкуем об этом за бокалом рождественского глинтвейна, а сейчас, Боб Крэтчит, прежде чем вы нацарапаете еще хоть одну запятую, я приказываю вам сбегать купить ведро угля да разжечь пожарче огонь.

И Скрудж сдержал свое слово. Он сделал все, что обещал Бобу, и даже больше, куда больше. А Малютке Тиму, который, к слову сказать, вскоре совсем поправился, он был всегда вторым отцом. И таким он стал добрым другом, таким тароватым хозяином, и таким щедрым человеком, что наш славный старый город может им только гордиться. Да и не только наш — любой добрый старый город, или городишко, или селение в любом уголке нашей доброй старой земли. Кое-кто посмеивался над этим превращением, но Скрудж не обращал на них внимания — смейтесь на здоровье! Он был достаточно умен и знал, что так уж устроен мир, — всегда найдутся люди, готовые подвергнуть осмеянию доброе дело. Он понимал, что те, кто смеется, — слепы, и думал: пусть себе смеются, лишь бы не плакали! На сердце у него было весело и легко, и для него этого было вполне довольно.

Больше он уже никогда не водил компании с духами, — в этом смысле он придерживался принципов полного воздержания, — и про него шла молва, что никто не умеет так чтить и справлять святки, как он. Ах, если бы и

про нас могли сказать то же самое! Про всех нас! А теперь нам остается только повторить за Малюткой Тимом: да осенит нас всех господь бог своею милостью!

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ЕВРОПЕЙСКОГО МОДЕРНИЗМА

Модернизм – общее название направлений в искусстве и литературе конца XIX – первой половины XX века, характеризующееся кризисным характером, разрывом с традициями, поиском новых форм и методов художественного познания. Сам термин «модернизм» в ряде европейских языков означает «модный», «современный», «новейший».

Модернизм появился не внезапно: во многих предшествующих направлениях уже можно разглядеть его ростки. Кризис духовной культуры, отчетливо появившийся на рубеже XIX-XX веков, вызревал на протяжении всего XIX века. Множество научных открытий, сделанных в эпоху Просвещения, показали человеку, что Вселенная подчиняется строгим законам, подвластным человеческому разуму. Человек стал ощущать себя повелителем природы, его власть ничем не была ограничена. Христианское учение, долгое время определявшее систему ценностей европейской цивилизации, постепенно начало утрачивать свое значение. В итоге общество постепенно теряло духовные ориентиры.

Особенно ситуация усугубилась к середине XIX века, когда в философской мысли получили распространение позитивизм, материализм, нигилизм – направления, которые утверждали преобладание физиологии над душой, материи над духом. Всё это к 50-70 годам привело к началу всеобъемлющего духовного кризиса эпохи. И, конечно, люди творческих занятий не могли оставаться в стороне от перемен, происходящих в духовной ситуации эпохи: художник всегда тонко чувствует настроения своего времени. Потеря прежних ценностей и ориентиров, осознание

кризиса западной культуры, невозможность действовать прежними методами, растерянность, поиски новых смыслов – все это отразилось в творчестве писателей-модернистов.

Искусство модернизма не создавалось какой-то определенной группой художников – его направления возникали в разные годы, в разных странах. Но, несмотря на существующие различия, модернистов объединяют общие философские основы и творческие поиски.

Ранний европейский модернизм был представлен тремя литературными течениями: импрессионизм, экспрессионизм и символизм.

Импрессионизм (от франц. *impression* – впечатление) – одно из направлений в искусстве последней трети XIX – начала XX века. Главными признаками импрессионистического стиля являются отсутствие четко заданной формы и стремление передать изображаемый предмет в отрывочных штрихах, фиксирующих каждое мгновенное впечатление о нем. Это придавало слову особую яркость и содержательную неожиданность. Импрессионистическое изображение окружающей действительности и человеческих переживаний происходит только на уровне стиля и тем самым как бы отстраняет автора от постановки и решения социальных и нравственно-эстетических вопросов. В этом смысле импрессионизм характерен не только для лирики и эпоса, но и для драмы.

Представители: элементы импрессионистической техники проявляются в творчестве К. Д. Бальмонта, И. Ф. Анненского, А. А. Фета, братьев Гонкуров, Г. де Мопассана и др.

Экспрессионизм (от лат. *expression* – выражение) – направление в литературе и искусстве, активно развивавшееся в 1910-1920 годах в Германии и отразившееся в культуре ряда европейских стран и США. Основными принципами экспрессионизма являются интерпретация окружающей действительности, тяготение к абстрактному мышлению, обостренная эмоциональность и фантастический гротеск. Главное внимание писатели-экспрессионисты сосредотачивают на эмоциональности человека,

истерзанного бездушием современного мира. «Внутреннее» и «внешнее» в экспрессионизме выступают всегда на равных правах, поэтому выражение важной для автора идеи достигается путем любых преувеличений и условностей. Экспрессионизму присущ социально-обличительный пафос, эмоционально-психологическая насыщенность («искусство крика», «эстетика морального шока»), ассоциативность. К этому стилю близки индивидуальные манеры разных русских писателей начала XX века: повесть «Красный смех», рассказ «Стена» Л. Н. Андреева, ранние поэмы и стихотворения В. В. Маяковского. В мировой литературе – Ф. Кафка («Превращение»).

Символизм (от греч. *symbolon* – знак, опознавательная примета, символ) – литературно-художественное направление, заявившее о себе в Европе во второй половине XIX века, связанное с обновлением поэтического языка и общекультурного мышления. Символизм являет собой интуитивное постижение мира через символическое единство окружающего пространства.

Эстетические особенности:

- представление о непознаваемости мира и его закономерностей;
- единственный способ познания мира – духовный опыт и творческая интуиция, а не разум; исключительная роль искусства;
- цель поэзии – отражение «высшей реальности»;
- основа поэтики – многозначный символ, содержащий в себе перспективу бесконечного развертывания смыслов образ;
- произведение – творческий акт не только автора, но и читателя.

Представители: В. Я. Брюсов, К. Д. Бальмонт, Д. С. Мережковский, З. Н. Гиппиус, А. А. Блок, Ш. Бодлер, А. Рембо, П. Верлен, М. Метерлинк и др.

Особую роль в формировании европейского модернизма сыграли представители французской литературы, в частности Шарль Бодлер. Именно его в его поэзии впервые прозвучали идеи, характерные для нового литературного направления.

ШАРЛЬ БОДЛЕР

(1821-1867)

Ш. Бодлер в рамках своей эстетической программы ведущую роль отводил понятию Красоты. По убеждению поэта, искусство становится прекрасным только тогда, когда выражает чувства, страсти, мечты каждого индивида. Прекрасными в искусстве могут быть любая вещь, любая эмоция, но таинство настоящей Красоты постичь не дано никому. Ш. Бодлер всегда настаивал на том, что совершенство не может быть завершенным. Это значит, что настоящее произведение искусства должно найти своё продолжение в душе читателя, вызвать в нём определенное волнение, заставить заглянуть в глубины собственного «я».

Особенности мировосприятия поэта нашли художественное воплощение в его единственном сборнике стихотворений «Цветы зла». Учитывая структуру книги – посвящение, введение и шесть поэтических циклов, – литературоведы характеризуют её как неразрывно связанные между собой лирические тексты и даже называют сюжетной поэмой. Замысел сборника возник у Ш. Бодлера в 1846 году. Тогда собрание стихотворений получило название «Лимбы», что значит «верхние круги ада». Адом поэту казалась современная ему жизнь, адские мучения испытывал как лирический герой, так и автор стихотворных строк. Но, как выяснилось, такое же название уже имела книга Т. Верона. Поэтому Ш. Бодлер остановился на варианте «Цветы зла» («Les Fleurs du Mal»). Это название импонировало писателю, помимо прочего, ещё и потому, что французское слово «le Mal» имеет два значения – зло и боль. В итоге оно оказалось на удивление выразительным, так как отражало все противоречивые чувства поэта с глубоко страдающей душой.

Большинство произведений, вошедших в книгу Ш. Бодлера, – это поэзия контрастов и оксюморонов: «неподдельное переживание отливается в них в подчеркнуто отделанные, классические формы, волны чувственности бушуют в берегах беспощадной логики, искренняя нежность соседствует с

едкой язвительностью, а благородная простота стиля часто переплетается с разнузданными фантазиями и дерзким кощунством». Стихотворения имеют преимущественно двухплановую структуру: на первом плане – предметы, явления, конкретные детали, а за ними проступает идея, абстракция, превращающая предметный мир в образы-символы. Символика Ш. Бодлера призвана глубоко и экспрессивно выразить противоречивое духовное бытие личности.

Одним из наиболее сложных для поэта в силу его своеобразного мировосприятия был вопрос соотношения добра и зла, Бога и дьявола в душе человека. Бог несомненно занимает все помыслы автора стихотворений, которым всецело владеет стремление приобщиться к полноте идеала, слиться с абсолютным, с неведомым и недоступным – с тем, что он именует «вечностью». Однако, во-первых, такое приобщение, как сказано в стихотворении «Жажда небытия», принципиально противостоит всякой надежде здесь, на земле; во-вторых, оно мыслится как паническое бегство от земного мира; в-третьих, вожденная вечность рисуется Ш. Бодлеру не как нечто позитивное, а именно как небытие, как пугающая бездна, темная пропасть; и, наконец, в-четвертых, сама жажда этой вечности-небытия оказывается настолько сильной, что, не признавая ни препятствий, ни отсрочек, требует немедленного и безусловного удовлетворения – здесь и теперь:

Как труп, захваченный лавиной снеговой,
Я в бездну Времени спускаюсь ежечасно;
В своей округлости весь мир мне виден ясно,
Но я не в нем ищу приют последний свой!
Обвал, рази меня и увлеку с собой!

В итоге поэт пытается вознестись над радостью и страданием, над добром и злом, стремясь в мир величественной Красоты, о чем свидетельствует его широко известный сонет «Красота»:

О смертный! как мечта из камня, я прекрасна!

И грудь моя, что всех погубит чередой,
Сердца художников томит любовью властно,
Подобной веществу, предвечной и немой.
В лазури царствую я сфинксом непостижным;
Как лебедь, я бела, и холодна, как снег;
Презрев движение, люблюсь неподвижным;
Вовек я не смеюсь, не плачу я вовек.
Я – строгий образец для гордых изваяний,
И, с тщетной жаждою насытить глад мечтаний,
Поэты предо мной склоняются во прах.
Но их ко мне влечет, покорных и влюбленных,
Сиянье вечности в моих глазах бессонных,
Где все прекраснее, как в чистых зеркалах.

Поскольку же красота, отождествленная с бесконечным, наиболее полное своё воплощение находит в искусстве, в творчестве, постольку именно поэзия, по мнению Ш. Бодлера, оказывается привилегированным способом «в один прием очутиться в раю».

Еще одним путем утоления жажды вечности поэту виделось абсолютное погружение в мир природы. Этот мир не воспринимался ним как объект любования. Ш. Бодлера интересовали не вещи, а «дух вещей», способный раскрыть «тайну жизни». Поэтому природа была важна для него как необходимое посредствующее звено между индивидуальной человеческой душой и бесконечностью. В связи с этим поэт наделяет природу двумя существенными характеристиками. Во-первых, он ее персонифицирует: по его мнению, в зримом мире, в неодушевленной природе творческая личность должна уловить «ее физиономию, ее взгляд, ее печаль, ее нежность, ее необузданную радость, ее инстинктивный гнев, ее восторг и ее ужас, короче, человеческое начало, содержащееся во всем, что угодно...». Во-вторых, именно это начало обеспечивает сообщаемость микро- и макрокосма: благодаря своей «одушевленности» природный мир предстает как некий

текст, состоящий из множества знаков (символов), понятных человеку и поддающихся прочтению: «Всё иероглифично, и мы знаем, что темнота символов лишь относительна, т.е. зависит от чистоты, доброй воли и прирожденной прозорливости душ. Что такое поэт (я употребляю это слово в самом широком смысле), если не переводчик, не дешифровщик? У выдающихся поэтов не встретишь такой метафоры, такого эпитета или сравнения, которые не вписывались бы с математической точностью в данные обстоятельства, потому что эти сравнения, метафоры и эпитеты черпаются из неисчерпаемой сокровищницы вселенской аналогии и потому что их неоткуда больше почерпнуть».

Свое видение природного мира Ш. Бодлер изложил в так называемой «теории соответствий», дав ей развернутое и последовательное объяснение в одном из лучших своих сонетов:

Природа – некий храм, где от живых колонн
Обрывки смутных фраз исходят временами.
Как в чаще символов, мы бродим в этом храме,
И взглядом родственным глядит на смертных он.
Подобно голосам на дальнем расстоянье,
Когда их стройный хор един, как тень и свет,
Перекликаются звук, запах, форма, цвет,
Глубокий, тёмный смысл обретшие в слиянье.
Есть запах чистоты. Он зелен точно сад.
Как плоть ребенка свеж, как зов свирели нежен.
Другие – царственны, в них роскошь и разврат,
Для них границы нет, их зыбкий мир безбрежен, –
Так мускус и бензой, так нард и фимиам
Восторг ума и чувств дают изведать нам.

Таким образом, можем сделать вывод, что бодлеровские «соответствия» имеют выраженный динамичный характер: привычные для нас вещи на глазах начинают преображаться, приобретают подвижность и, словно бы

нехотя вовлекаясь в общий хоровод взаимопревращений, мало-помалу раскрывают свою многосмысленную глубину. Примером тому может служить сонет «Экзотический аромат», в котором слегка уловимый запах в авторском воображении обрастает зримыми ассоциациями:

Когда, смежив глаза, на грудь твою склоненный,
Твой знойный аромат впиваю жадно я,
Мне снова грезятся блаженные края:
Вот – монотонными лучами ослепленный,
Спит остров, в полусон лениво погруженный, –
Дерев причудливо сплетенная семья,
Где крепнет строй мужей, избыток сил струя,
Где взоры смелых жен я вижу, изумленный.
Мой дух уносит твой волшебный аромат
Туда, где мачт леса валов колышет ряд,
Изнемогающий от качки беспокойной,
Где тамаринд струит далеко запах свой,
Где он разносится пьянящею волной
И сочетается с напевом песни стройной.

В целом в своих произведениях Ш. Бодлер использует контрастные краски, поражающие своей необычностью, даже парадоксальностью. Часто его поэзия соединяет возвышенное, почти невесомое, с низким, подчеркнуто грубым. Во многих стихотворениях преобладают откровенно отталкивающие картины порока, разврата, нравственного уродства. Но, исходя из эстетических приоритетов Ш. Бодлера, можем сделать вывод, что если поэзия наполнена образами социального и морального упадка, это ещё не значит, что сама она источает зло. По нашему мнению, проникновенные стихотворения поэта-модерниста раскрывают перед читателем многогранный мир красоты и гармонии, пробуждают глубокие эмоции, создавая ни с чем не сравнимые настроения:

И осень позднюю и грязную весну
Я воспевать люблю: они влекут ко сну
Больную грудь и мозг какой-то тайной силой,
Окутав саваном туманов и могилой.
Поля безбрежные, осенних бурь игра,
Всю ночь хрипящие под ветром флюгера
Дороже мне весны; о вас мой дух мечтает,
Он крылья ворона во мраке распластает.
Осыпан инея холодной пеленой,
Пронизан сладостью напевов погребальных,
Он любит созерцать, исполнен грез печальных,
Царица бледная, бесцветный сумрак твой!
Иль в ночь безлунную тоску тревоги тайной
Забуть в объятиях любви, всегда случайной!

В искусстве Ш. Бодлер сделал открытия, сопоставимые с открытиями живописцев-экспрессионистов. Основой его поэтического образа была связь человека и внешнего мира. Материальная предметная реальность присутствовала в его поэзии не только как данность окружающего мира, но и как объект чувственного, эмоционального и интеллектуального восприятия действительности человеком. Поэзия Ш. Бодлера не описательна, а иносказательна и суггестивна – яркими примерами, подтверждающими это, являются практически все стихотворения сборника «Цветы зла».